



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

ЮДАВЫДОВ  
ВЕЧЕРА В КОЛМОВЕ  
И ПЕРЕД ВЗОРОМ ТВОИМ...

# **Юрий Владимирович Давыдов Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим...**

*Сканирование, вычитка Чернов Сергей, г.Орел  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=156749](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156749)*

*Ю.Давыдов Вечера в Колмове. И перед взором твоим...: «Книга»;  
Москва; 1989  
ISBN 5-212-00113-7*

## **Аннотация**

Повесть о Глебе Успенском рассказывает о последних, самых драматических годах жизни замечательного русского писателя. Но вместе с тем она вмещает все его нравственные искания, сомнения, раздумья о русском народе и его судьбе. Написанная ярко, страстно, повесть заставляет сегодняшнего читателя обратиться к нравственным проблемам, связанным с судьбой народа. В книгу включены повесть о русском мореплавателе и писателе Василии Головнине, а также в сокращенном варианте «Дневник Усольцева», ранее печатавшиеся в издательстве «Молодая гвардия».

# Содержание

БЛИЗКОЕ ДАЛЕКОЕ	4
Вечера в Колмове	11
Конец ознакомительного фрагмента.	156

# **Юрий Владимирович ДАВЫДОВ**

## **Вечера в Колмове**

### **И перед взором твоим...**

#### **БЛИЗКОЕ ДАЛЕКОЕ**

Перед нами книга, в которой два – точнее – три, а еще точнее – четыре главных действующих лица. К реальным людям прошлого века Василию Головнину и Глебу Успенскому присоединяется Николай Усольцев, вымышленный писателем Юрием Давыдовым. Он-то и есть четвертый.

Порою ловишь в себе некое удивление: как же это удастся ему быть столь разным, а порою и совершенно непохожим на того, каким ты представлял автора, читая предыдущие страницы? Думаю, причина в том, что каждый раз возникают, так сказать, сообщающиеся душевные сосуды – автора и персонажей.

Писательство (если оно не самозабвенное марианье бумаги, то бишь графомания) – один из способов самопознания, неустанного устройства души. Вероятно, читатель легко убедится в правильности сказанного, сравнив «Головнина» с

«Вечерами в Колмове».

Лихость, молодечество, нет-нет да и вспыхивающие на страницах «Опыта биографии моряка-мариниста», как бы запечатлели молодость автора, радость обретения живости письма, умения своевольно, легко, ненатужно распорядиться словом, которым он даже бравирует, будто вчерашний курсант новенькими лейтенантскими погонами.

Ко времени работы над «Вечерами в Колмове» это умение куда как возросло, но оно уже не заботит писателя. Стиль стал сдержаннее, медлительнее, основательней. Все внимание сосредоточено на сути. Тот иль иной абзац «вынь» из небольшой повести и почувствуешь весомую зрелость раздумий, наполненных нелегким опытом прожитого. И все же, конечно, это тот же Давыдов, некогда обратившийся к историческому жанру, скорее всего не только и не столько ради интересных и для него, и для читателя ситуаций и коллизий, даже не из желания поведать нам о замечательных людях, а прежде всего ради попытки ответить на жгучие вопросы, поставленные и ставящиеся современностью.

Что же это за вопросы?

Наверное, их можно свести к знаменитому козымапрутковскому: «Где начало того конца, которым оканчивается начало?» С середины 50-х годов, после XX съезда, после доклада Н. С. Хрущева о культе личности, многих не могла не охватить, говоря нынешними словами Ю. Давыдова, «скорбь о негодяйстве нашем» и неотступная жажда осознать, поче-

му же, почему разразился в стране шабаш репрессий. И вот вопросы – кто мы? что значим? откуда пришли, куда идем? – потрясли всех, кто мыслит и чувствует.

Ю. Давыдов, судя и по разного рода интервью, а главное, судя по его писательской практике, считал и считает, что многие проблемы нашего сегодня требуют пристального внимания к делам и дням второй половины прошлого века, к началу века нынешнего.

«Мне кажется, – говорит он, – что я иду от проблемы, но не от исторической проблемы, которую вычитал в книгах, а от того короткого замыкания, которое происходит от соприкосновения проблемы исторической с проблемой современности. В то же время и не ищу аллюзий и не занимаюсь ими. Аллюзия – это дело пустое, пена, проблем ни исторических, ни современных она решить не может и предназначена только для читателя, который читает между строк и порою даже не замечает, что содержится в самих строках. Но то соприкосновение, то короткое замыкание и порождает, по-моему, исторического прозаика, вообще писателя. Без этого историческая проза превращается в антикварную лавку, в нумизматическую коллекцию. Как бы полно и детально ни была описана в ней соответствующая эпоха, авторское знание в такой прозе кажется набором случайных сведений».

Время от времени он уходил от народников, от их идейных противников и «деятелей» тайного сыска, погружаясь то в блистающий мир корабельных походов и морских сраже-

ний, то в бурные перипетии жизни отпрыска русской купеческой семьи, который оказался в предреволюционном Париже и в революционных Северо-Американских Штатах... Уходил, но неизбежно возвращался к своей «долгой теме», к тому клубку противоречий, что возник в пореформенной России, ибо из этого-то клубка нити протянулись, просквозили через революции и войны и дотянулись до теперешней быстротекущей жизни.

Исследуя революционное и освободительное движение, отыскивая высокие нравственные идеалы, завещанные прошлым, автор не мог не обратиться к могучей фигуре Германа Лопатина, что он и сделал в романе «Соломенная сторожка», удостоенном Государственной премии СССР 1987 года. И не мог он пройти мимо писательской и человеческой судьбы Глеба Успенского – одного из самых совестливых писателей России, одной из самых светлых и трагических личностей русской культуры. Образ Германа Лопатина писатель напоминал каждому из нас, на какой бы ниве он ни трудился, о необходимости честности, бесстрашия, моральной чистоплотности. Образ Глеба Успенского должен напомнить о святости литературного дела, о пагубности лжи, равнодушия, эгоизма для литературы, для писателя.

Давыдов не воссоздает полную биографию Успенского, подобно входящей в этот же том полной биографии Головнина. Вся жизнь Глеба Ивановича – счастье и горе, надежды и разочарования, светлое упование и крошечное отчаяние –

автор, говоря словами поэта Давида Самойлова, «врубает в один эпилог». Не завлекателен этот эпилог, не соблазнительна эта «беда здоровой совести в больном мире». Нет лавровых венков победителя и триумфатора, есть флигель в психиатрической лечебнице, хотя бы и такой, как Колмовская, где медики исповедуют и практикуют принцип «нестеснения».

Но есть и иное.

Рассказывая о неприятии Верой Фигнер, а возможно, и иными из ее героических соратников того, что писал Успенский о деревне, о мужиках («— От ваших мужиков тошно... Ничего светлого, жалкое стадо»), Давыдов утверждает: «Успенский не пугал деревней, не отваживал от деревни; он писал правду». То же самое можно сказать о показе Давыдовым горькой участи Глеба Успенского; не пугает — правду пишет, которая открылась ему, Давыдову, когда «настиг час». Правда эта горька и прекрасна, ужасна и высока. И влекуща, несмотря на ужас. Ведь говорит же доктор Усольцев, видящий тот мрак, в который все более погружается Успенский, и слова эти, произнесенные в самом начале повести, то и дело вспоминаются при дальнейшем чтении: «Еще студентом я состоял в Глеб-Гвардии: так называли в ту пору читателей-почитателей Успенского. Прибавил бы и обожателей, но словечко из лексикона институток, а наша гвардия рекрутировалась в основном из пролетариев умственного труда. Мы перемрем, лягушачьего пуха не останется, но любовь наша



к Гл. Ив. переживет нас».

И современники Успенского, и мы, нынешние, не столь уж, к сожалению, многочисленные читатели его, привыкли видеть в нем зоркого и предельно честного изобразителя трудовой России былых времен, неустанного будителя общественной совести – и только. Давыдов существенно дополнил этот образ – показал Успенского-провидца, Успенского-пророка, который каждой частичкой своего сердца болел за деревенского труженика и в то же время мучился неотвязной мыслью «о многосложном» нравственном «расстройстве» народной жизни, сулящем в будущем «самые неожиданные комбинации».

Он высоко ценил самоотверженность народовольцев, но не принимал их метод, их «террорную доктрину». «Людам подполья Успенский верил до конца, они были начисто лишены мелодраматизма. Успенский не верил в бомбу, начиненную динамитом. Светоч идеала слепил людей подполья. Не заслоняясь, лишь опустив глаза, Успенский видел поле. И слышал тревожный шелест колосьев, возникавший вместе с тенями от наплывающих туч будущего. Его одиночество было вынужденным. Он стоял особняком именно там, где ему хотелось бы стоять в обнимку».

Что-то в этом будущем заставляло Успенского всматриваться в, казалось бы, архаический опыт Аракчеева, которого крестьяне честили антихристом именно за то, что он *«вломился в хлев, в поле, в овин, везде и всюду, в самые недра*

земледельческого *творчества* да и крушил направо-налево *поэзию* крестьянского труда» (курсив Ю. Давыдова. – Ю. Б.).

Читая «Вечера в Колмове», думаешь не только об истории, но и о современности. И еще, еще раз убеждаешься в том, что подлинный, истинный, настоящий писатель, о каких бы временах и людях не писал, живет и нынешними, и завтрашними заботами...

Давние поклонники Давыдовского таланта с интересом прочтут в этой книге его новую повесть. А те, кто прочтут жизнеописание Головнина, увидят, что состав книги не случаен. Василий Головнин и Глеб Успенский разделены временем, обстоятельствами жизни, тематикой и стилистикой своих произведений. Василий Головнин и Глеб Успенский объединены духом гуманизма, скрепами правды и честности.

*Юрий Болдырев.*

# Вечера в Колмове

## (Повесть о Глебе Успенском)

В заведениях для умалишенных служба каторжная, а тебе говорят: «Николай Николаевич, кроме Колмова, других вакансий нет». Ты говоришь: «Помилуйте, я не психиатр». «Ну что ж, — пожимают плечами, — воля ваша». И тебе ничего не остается, как отправиться за несколько верст от Новгорода.

День, помню, соответствовал моему настроению. Сеялся дождик, осинки знобило, а тут еще это гнетущее ожидание рыданий и хохота губернского бедлама. Но вот в робкой роще показались флигеля и хозяйственные строения земской больницы.

Главный врач, осанистый, волоокий брюнет, встретил меня сурово, если не сказать надменно. Так и повеяло восточным владыкой, не то хазарским, не то ассирийским. (Позже я узнал, что Борис Наумович Синани происходил из караимов.)

Мы сидели в больничной конторе. Заглядывали служители в черных поддевках. Г-н Синани распоряжался отрывисто, видно было, что его бояться, и это мне ужасно не понравилось. Борис Наумович объявил, что принимает меня, терапевта Усольцева, лишь вследствие недостатчи персонала. Да и вообще, прибавил он, психиатрами не делаются, а рож-

даются... Он стал задавать вопросы. Отвечая, я хранил корректную независимость, с трудом подавляя раздражение. Он вдруг рассмеялся: «Ну, чего это вы, батенька?» Я увидел совсем другого человека. «Кто знает, может, и вы родились психиатром», – с необидной, примиряющей снисходительностью предположил г-н Синани, и мы условились, что завтра же он начнет просвещать неофита-ординатора.

Это «завтра» давно уж кануло в Лету. Б.Н.Синани оставил Колмово, поселился в родных краях, в Симферополе или Ялте, точно не знаю. Я ему многим обязан. Да и человеком он оказался порядочным, хотя бы потому, что не жирел за счет больницы, по нынешним меркам этого достаточно.

Отъезд Б.Н.Синани меня огорчил. Смерть Успенского обрекла меня на неизбывное одиночество.

Хоронили Глеба Ивановича в Петербурге, на Волковом. Народу собралось много, но ни одной мундирной фигуры, никакой официальнойности. Пел студенческий хор, а казалось, процессия текла в безмолвии, как текут глубокие воды.

Нынче на дворе холода, носа не высунешь. Приступаю к своим запискам... нет, лучше сказать, продолжаю, ибо и здесь, в Колмове, часто в мыслях своих обращаюсь к миражам Новой Москвы.

Доктор Усольцев не думал о читателе, свобода завидная. Думать о читателе надо литератору, несвобода привычная.

Прежде всего вкратце сообщу историю трагическую и поучительную, сознавая, однако, непоучительность трагических историй.

Так вот, в прошлом веке, на исходе 80-х годов, в Африке, у пустынного берега Таджурского залива, возникло поселение русских колонистов – крестьян, мастеровых, интеллигентов. Все они желали устроить общежитие по совести. Увы, Новая Москва не устояла на добровольно заданных устоях еще до того, как ее спалила вражеская эскадра.

Медик Н.Н.Усольцев, колонист Новой Москвы, изложил ее перипетии в «Записках», впоследствии опубликованных. А здесь, зачином нашей повести, цитируется начало другой усольцевской тетради. Если «африканскую» я разыскал, то вторая досталась случайно. Нарочитые «случайности» в ходу у беллетристов, но тут уж прошу верить на слово. Как и тем мгновениям, когда настольная лампа, освещающая усольцевскую тетрадь, высветила живые черты Николая Николаевича.

Худошавое лицо, некогда гончарно обожженное нездешним зноем, иссекали резкие, как трещинки, морщины. Глаза были не печальные, не задумчивые, а, что называется, не от мира сего. Признаться, мне даже мелькнуло вульгарное «чокнутый» – все мы наслышаны, будто долгое пребывание среди душевнобольных не проходит даром. Но тотчас и подумалось: глаза не от мира сего? – да ведь мой Усольцев и явился-то не из сего мира – он служил в Колмове на закате

девяностых, на заре девятисотых.

Тетрадь свою он озаглавил «ВЕЧЕРА В КОЛМОВЕ». Не велик труд изобрести что-нибудь другое, приманчивое. Однако нельзя. Тетрадь, как волокуша, тянет повесть. Перемени название, выйдет плутовство, смахивающее на плагиат.

Добавляя то, чему Усольцев свидетелем не был, старался избежать разностильности. Не уверен, удалось ли, но, видит бог, старался.

И последнее. Заимствуя записи, непосредственно относящиеся к Глебу Ивановичу Успенскому, не забывал о том, что в сфере духовного обитания доктора Усольцева оставались, как он говорит, «миражи Новой Москвы», и потому намерен приложить к повести часть его африканских мемуаров.

В нашей больнице исповедовали принцип «нестеснения». Ни смиренных рубашек, ни карцеров, ни кулачной расправы. Нет, этот желтый дом не был мертвым домом, и все же я не скоро избавился от тяжелого, как во сне, беспокойства, свойственного новичку в призрачном и одновременно реальном мире человеческого безумия.

Главное, чем следовало овладеть, так это умением объективировать больного, то есть до известной степени встать на его точку зрения. Что сие значит? Надо понимать то, что тебе, врачевателю, обладателю здравого смысла, представляется драматической или трагикомической бессмыслицей. Однако как ты определишь эту самую «известную степень»? И

потому, чем настойчивее твои усилия объективировать, тем внятнее и грознее: «Нет, лучше посох и сума...»

Больного надо любить; этот дар не каждому дарован. Больному надо сострадать; сострадание – минорный отзвук страдания, а при душевных болезнях страдания не всегда внятны другому человеку. Больного надо, так сказать, вытерпывать, а терпение не капитал, которому нет извода.

Таковы были обстоятельства сугубо медицинские. Но я потому и прилепился к земскому лечебному заведению, что оно сливалось с земледельческой колонией. Свыше полутысячи пациентов принадлежали в большинстве к лицам непривилегированных сословий, крестьянам и мещанам. Колмово, стало быть, представляло ассоциацию демократическую.

Всем известно, что после падения крепостного права перед каждым в России, в той или иной мере, но перед каждым, встал вопрос народного дела. Вопрос этот начертан на челе века. И все мы, толкуя вкривь и вкось, бродим впотьмах, ощупью. Какая-то всеобщая беспомощность, озаряемая от времени до времени сполохами надежд на гармоническое решение. А Глеб Иванович даже в минуты отчаяния повторял: на мужика глядите, на мужика.

Гляжу!

Отправляясь в Африку поднимать Новую Москву, мы, колонисты, названные нашим атаманом *вольными казаками*, страстно желали сплотиться крестьянским ладом. Мы, соб-

ственно, потому и покинули родные Палестины, что *лад разладился*. Осталась лишь присказка: «Ладушки, ладушки, где были? – У бабушки». Там, в Новой Москве, мы, не жалея сил, принялись за дело. Вскоре атаман Ашинов, озабоченный благочинием, обзавелся личным конвоем, каталажкой, соглядателями. Однако колонисты, не помышляя о свободе, сознавали себя вольными до тех пор, пока вождь наш не принялся энергично внедрять так называемое попечительное хозяйство. И что же? Мало-помалу у казаков опустились руки, они прониклись апатией, это отмечено в моих африканских записках.

Но пусть не говорят мне, что иначе и быть не могло. Пусть не говорят это мне, очевидцу колмовской практики!

Целительность труда для умалишенных признают и в Европе. Но там у них труд не коллективный, не артельный, это раз. И средство наживы, это два. Типический пример – заведение французов Лабит в Клермон-Ферране, где пациентов просто-напросто отдавали батраками окрестным фермерам. Разумеется, за определенную мзду. Вот вам рабовладельцы, вот вам рабство.

Не то в Колмове!

Наша колония располагала 75 десятинами земли, скотным двором, конюшней. Имелись мастерские, кирпичный завод. В больнице, повторяю, действовал принцип «нестеснения», в колонии – добровольности. Не темная алчность разжиться работой, а светлая жажда жить в работе. Примечательно:



в больничной палате, в больничном флигеле любой из больных чувствовал себя королем в своем королевстве, у каждого свой норов, свой «пункт», никто не слушает другого, все говорят о своем, слова и поступки эгоцентрические. А вот на поле, в мастерской эти же самые люди были большой семьей, где каждый зависит от каждого, подчиняется изумительному инстинкту коллективности.

Ну-с, возразят скептики, положим, таковы были ваши пейзажи, а как же мастера, эти индивидуумы, отщепившиеся от деревни, этот продукт чадных, душегубных городов, они-то как же? О, господа скептики, понаблюдали бы вы за ними хотя бы день, другой. Увидели бы не тупо-бездумных исполнителей. Нет, работали прочно, искусно, на совесть. Помню такой случай. Где-то в Пермской губернии, в реальном училище, кажется, Красноуфимском, хитроумно изготовили несгораемый материал для кровель. Брошюра, трактующая этот способ, ненароком попала в Колмово. Наши разобрались что к чему, что-то изменили к лучшему и засучили рукава. Представьте, в Боровичах ахнули, на заводе Вахтера и К°, всей России известном. Или вот еще пример. Раздобыли ткацкий станок. Охотников хоть отбавляй. До звонка подхватывались, спозаранку, чтоб место занять; пришлось учреждать очередность.

Тысячу раз прав был Б.Н. Синани: «Наша колония дает наглядные условия, при которых и здоровые люди поздоровели бы». Сознаю, очень хорошо сознаю, что, попадись-ка мои

записки обладателям так называемого здравого смысла, они бы ухмыльнулись: дескать, автор слишком долго находился в бедламе, вот и того-с... А здравый-то смысл чаще всего не что иное, как пошлый опыт. Пошлый же опыт (это из Некрасова), пошлый опыт – ум глупцов.

Так и я, избавляясь от него по каплям, не сразу разглядел полет сердец. Сейчас расскажу.

Вечера, свободные от дежурств, я коротал в семействе Б.Н., а всего чаще сживал дома, пил чай и читал под висячей лампой. Ее матерчатый абажур обнимали латунные обручи; обручи имели прорези в виде сердечек. Потянет ли сквознячок зимний, налетит ли летний ветерок, тотчас качнется абажур, а блики от прорезей скользнут и взлетят по стене к потолку. Только-то и всего, ежели здравый смысл.

Из моей комнаты виден был каменный флигель. В одной из палат свет горел долго. Оконный проем расчерчивала железная решетка. Конечно, система «нестеснения» предполагала упразднение атрибутов системы «стеснения», то есть тюремной, но тут уж губернское начальство ни в зуб ногой, пришлось не убирать. Не стану уверять, будто меня денно-нощно точил вещественный знак острога. Но *это* окно, схваченное железными прутьями, светило в палате Глеба Ивановича Успенского.

Еще студентом я состоял в Глеб-гвардии: так называли в ту пору читателей-почитателей Успенского. Прибавил бы и обожателей, но словечко – из лексикона институток, а на-

ша гвардия рекрутировалась в основном из пролетариев умственного труда. Мы перемрем, лягушачьего пуха не останется, но любовь наша к Глебу Ивановичу переживет нас.

С первых же дней колмовской службы мне страсть как хотелось занять его внимание записками о Новой Москве. Долго не решался, а когда отдал, самолюбиво съезжился. Дело было не в литературных претензиях, это пустое. И даже не в том, что дальние путешествия, пребывание за морями, за долами как бы придают тебе некое превосходство над прочими. Нет, мысленно перебирая страницы своих записок, вдруг уподобил их глухой исповеди, то есть мычанию больного, лишенного дара речи. А я, признаться, рассчитывал втайне превзойти в глазах Глеба Ивановича нашего главного врача Б.Н.Синани.

Глеб Ив. уважал Б.Н., говорил: «Гениальный психиатр». Б.Н. тоже любил его любовью Глеб-гвардейца. Но он больше вникал в клинические подробности. А по моему разумению, высшие мотивы духовного бытия Глеба Ив., его психический фонд находились вне компетенции медицины. Именно на его духовном бытии я и сосредоточусь, ведь у нас сложились доверительные отношения.

Пишу «доверительные», понимая, что подобные претензии свойственны тем воспоминателям, которые пишут о людях из ряда вон. И это не всегда сознательная ложь. Есть то, что психиатры называют обманными воспоминаниями. Думаю, что избавлен от них долгим колмовским опытом само-

контроля. Это все то же: «Не дай мне бог сойти с ума». Навык утомительный, однако необходимый. В данном случае пуще других. И вот пример. Если бы у меня отсутствовал внутренний дозорный, я бы, описывая первый вечер, приватно проведенный с Глебом Ив., майский был вечер, теплый, тотчас соединил бы все его высказывания по поводу моей африканской рукописи. Оно, может, и вышло бы стройнее, да ведь не так было, не так.

Ну вот он пришел и с этой своей необыкновенно милой, немного конфузливой улыбкой просил отложить разбор моего сочинения до другого раза. Я согласился поспешно и даже радостно, будто отсрочивая исполнение казни. Мы стали пить чай и калякать. Глагол решительно не вяжется ни с моей почтительной любовью к Глебу Ив., ни с теснившим мою душу скорбным выражением его серо-голубых глаз, ни с манерой подергивать тускло седеющую бороду, подергивать словно бы в тревоге и вместе отрешенно. Но мы именно калякали, сумерничали, чаевничали. А ветер с Волхова покачивал абажур, светлые блики вздрагивали и двигались. Я заметил, что Глеб Ив. следит за ними.

Следил все пристальнее, но разговор наш, ничего не значащий, продолжался, и я, как сейчас, слышу его голос. Вот ведь что любопытно. Голоса других людей, давно отзвучавшие, могу, припоминаячи, определить – тонкий, толстый, грубый, еще какой, а его голос и теперь *слышу*, несильный и словно бы тронутый никотинной желтизной, не то чтобы

хриплый, как у многих курильщиков, нет, желтизною тронутый, вот так. Да-да, голос слышу, лицо вижу, лоб белый-белый и этот жест – вытянув два пальца правой руки, прикладывая накрест к груди, будто самому себе указывая, где болит... Вижу, слышу, но, окунув перо в чернильницу, воспроизвожу на бумаге какую-то фиолетовую немочь. А надо, непременно надо воспроизвести, потому что в этот первый наш вечер в словах его, вдруг произнесенных шепотом, мне приоткрылась тщета здравого смысла. И лоб его белый-белый почудился мне пылающим. Потому, должно быть, что в голове Глеба Ив. кипела идея самая кардинальная.

Если приблизительно, то в шепоте Глеба Ив. было следующее. Не полет и дрожь бликов от прорезей в латунных обручах абажура видел он, а Млечный Путь маленьких человеческих сердец, полных страдания, готовых исцелить друг друга касаниями, соприкосновениями, однако летящими врозь и не умеющими догнать друг друга. И на этом Млечном Пути, в этом полете было и его сердце, давно надорванное и обреченное на разрыв, что и случилось несколько лет спустя...

Боюсь, напишу темно, но есть тут какая-то связь со сновиденьем, о котором мне рассказывали, кто рассказывал, не помню, да суть-то вот в чем. Танееву, композитору, говорили мне, сновиденье было, ни в каких сонниках не сыщешь. Нечто живое, сияющее витало в черных безднах, витало, озаряя и согревая душу людей. А где-то внизу, по самому что ни на есть краю сновиденья, влеклась жалкая вереница в ка-

ких-то хламидах, в каких-то хитонах. Сияющими, живыми снились Танееву музыкальные мысли Чайковского, и Танеев плакал слезами восторга и благодарности. Снились и свои, танеевские, музыкальные мысли, жалкие хламиды, и он плакал слезами отчаяния.

Вникнуть надо, вникнуть! Как я понимаю, не звуки в цвете или в каком-то фигурном обличье снились, нет, *мысли*.

Доктор, слава богу, не покусился на рассуждения о муках творчества, о процессе творчества. Такие работы, произведенные пером психиатров, были ему, конечно, известны. О Гоголе, о Достоевском, о Тургеневе. А не покусился, думаю, не потому лишь, что не причислял себя ни к «прирожденным», ни тем паче к «гениальным» психиатрам, нет, догадывался о бессилии истолкования этих «мук», этого «процесса». И посему попросту фиксировал по памяти сюжеты своих собеседований с Г.И.Успенским, походя высказывая – и, повторяю, не для читающей публики – разного рода соображения.

Ну и прекрасно, чего же более? Да в том-то и дело, что на главном суждении Н.Н.Усольцева сказались «привычки» многолетнего читателя Глеба Успенского.

Усольцев очень хорошо понимал слитную двойственность в душе Глеба Ивановича. Успенский был истцом, Успенский был и ответчиком. Иск предъявляла та русская жизнь, которая в корчах расставалась с Авраамом в лаптях и, ужа-

саясь самой себе, отдавалась Хаму в штиблетах. Ответчик же сознавал и вину свою, и ответственность. Никем не судимый, никем не осужденный, он был приговорен к уяснению и разъяснению причин и следствий. Постигая и то и другое, душил в себе художника ради нагой мысли. И, как на раскрытой ладони, подавал ее читателю.

Вот это понимали, хорошо понимали и Усольцев, и Глеб-гвардейцы. Но в Колмове, в заведении для душевнобольных, Успенский не то чтобы освободился от своего сизифова камня, он освободился от читателя. Оставаясь в Колмове, уходил из Колмова. Уходил в Страну Памяти. Туда, где нет ни «тогда», ни «потом». Между тем Страна Памяти такая же реальность, как и сегодняшняя реальность. А может, и еще реальнее, ибо не знает препон и помех сиюминутного.

Вот этого-то и не понимал наш медик, отмечая в устных рассказах Глеба Ивановича «элементы галлюцинаций». Какие же? Слушайте: «Глеб Ив. допускал, случалось, искажения. Не то чтобы вперед забежал, в сторону отклонялся, вспять возвращался, это вещь в разговоре, в беседе обыкновенная. Другое. Он нередко искажал перспективу времени и перспективу пространства, совмещая события и лица, несовместные ни во времени, ни в пространстве. Выходили вроде бы сюжеты фантастические, хотя обращался он к событиям и людям реальным».

Нет, не улавливал Усольцев законов Страны Памяти. Перебить же вопросом не решался. Пробовал и зарекся: Глеб

Иванович то ли не слышал, то ли не понимал, а то и вовсе замолкал. И потому в тетради Усольцева многое отрывочно, сбивчиво, скоком-перескоком. Оно бы и ничего – на какой мне черт усольцевские домыслы? С другой стороны... Не раз я досадовал: эх, напрасно Николай Николаевич не выучился стенографии по учебнику Горшенина или Кривоша. Тот было бы славно.

А теперь что же?

Один из друзей Успенского свидетельствовал: «Передать рассказ Глеба Ивановича в подробностях, со всеми оттенками его остроумия – немыслимо. Его манера говорить образами, употреблять неожиданные сравнения, полные юмора, не говоря уже о мимике и жестах, не поддается воспроизведению».

Цитируя, понимаю, что Николай Николаевич наверняка изобличал бы меня в трусливом намерении испросить помилования у будущего читателя. Ну что ж, он был бы прав.

Листаю, перелистываю колмовскую тетрадь.

Мы, бывало, пишет доктор, сживали с Глебом Ивановичем на скамье у Волхова. Вечерело, солнце пряталось, шлепал плицами пароходишко братьев Забелиных; комар пищал и мохом пахло, на другом берегу монастырские колокола зазванивали. Глеб же Иванович говорил, что «Владимир» был не колесный, как этот, волховский, а винтовой и что монастырское подворье в Константинополе куда люднее, чем вон то, на другом берегу, в Деревяницкой обители...



Я потому и ухватился за эти строки, что Усольцев сообщил, о чем, собственно, речь шла – «печкой» были африканские мемуары. Но если упомянут «Владимир», пароход морской, коммерческий, тут, стало быть, и Максимов выскочил. А выскочил Максимов, то вот и Серапинская гостиница в Петербурге.

Максимов, капитан «Владимира», статный красавец, сильно загорелый, отчего глаза казались не просто голубыми, но ослепительно голубыми, знал Успенского смолоду и называл его, как все старые приятели, Глебушкой. Они сидели в маленькой ресторации на берегу Южной бухты. Им прислуживал грек с огромными усами. Глебушка тотчас окрестил хозяина жуком-оленом. От скумбрии, вина, от мраморной столешницы веяло античностью.

Капитан Максимов предлагал доставить в Турцию контрабанду. Товар был уникальный. Глебушка не решался. Он говорил, что Максимов всегда был хватом, как бы не хватить через край. Капитан сердился. Черт возьми, перед отплытием всегда времени в обрез. Его посудина, принадлежавшая Российскому обществу пароходства и торговли, была ошвартована близ ресторации. «Владимир», разводя пары, уже нахлобучил на высокую трубу грязную папаху.

– Послушай, ты, пожалуйста, не мямли, а говори «да» или «нет». Ты же знаешь, к продолжительной беседе я без водки не расположен. А душить водку в такую жару невозможно.

Максимов валял дурака — он и в молодости не «душил» водку. Но в Серапинскую гостиницу, где Глебушка жил лет тому уж двадцать с гаком, заглядывал. Вот там-то и вправду «душили», невзирая ни на жару, ни на стужу.

Отправляясь в редакцию какого-нибудь журнальчика, Успенский не замыкал двери. Возвращаясь, заставал пишущую публику в двух состояниях. Либо в том, которое называлось «по вчерашнему», либо в том, которое именовалось «по сегодняшнему». Признаком первого был треск в черепной коробке, свист в кармане и всеобщая унылость, переходящая в остервенение. Признаки второго были пестрее, многообразнее в смысле телоположения присутствующих, и это означало, что один или двое получили «аванец», раздобылись в долг, а то, глядишь, и обретались при законном гонораришке. Коль скоро ни тем, ни другим, ни третьим не представлялось возможности залатать тришкин кафтан распроклятой питерской жизни, то и другое и третье использовалось по прямому назначению. Не пуншевая пирушка кипела, как у ротмистров. И не пир в три этажа, как у железнодорожных подрядчиков. Нет, «душили» угрюмо, мрачно. Завейся горе веревочкой. «Он до смерти работает, до полусмерти пьет» — это ж не только о мужике, не только о фабричном, это ж и про них, журнальных, газетных поденщиков.

Максимов, офицер военного флота, только что вышел в отставку. Он сменил кортик на перо. И ему случалось пропустить рюмочку — он смеялся: «Хожу, братцы, под парусом». —

И грозил им пальцем: – «Но уланчики в глазах не бегают, это уж увольте-с, господа».

Навещая Глебушку, он брезгливыми толчками отворял форточки. Засим, надменно покачиваясь на носках, озирал знакомую компанию, спавшую так, словно каждый был обведен мертвой рукой. Глебушка по-обыкновенению дремал чутко, как разводящий в караулке.

Происходил нижеследующий диалог.

– Ты зачем в кабак заявился? – спрашивал Глебушка, пряча глаза.

– Не в кабак, а в каюту господина Успенского, – голосом вахтенного начальника резал Максимов.

– Каюта, – понуро произносил Глебушка. – Каютой будет во едину из суббот.

– Гони в шею!

– И выгоню, ей-богу, выгоню, – отвечал Успенский без должной, однако, решительности. Строгий взгляд Максимова как подстегивал, Успенский вскидывал голову. – Вот увидишь, всех пошлю к черту в голенище. – И разводил руками. – Да они ж опять придут, Коля. – Он вздыхал. – А то и сам приведу. Посуди, стучит давеча коридорный: «Глеб Иванович, Глеб Иванович, тут один во все двери толкается, не из ваших ли?» Иду, вижу Решетникова. Ну, скажи на милость, Решетникова вижу, что прикажешь делать? – Он опять вздохнул. – Опохмеляю, ежели бог послал. Ну, и сам приложусь. Нельзя же эдаким милостивым самаритянином, обидятся. –

Помолчав удрученно, пригубил стакан с пивом. — А с холодным-то вниманием вокруг: сивушный мир, сивушная гибель.

— Вот, вот, — смягчался Максимов, — заболеешь ты, право, заболеешь, погляди на себя в зеркало... И табачище изводишь, как боцман. Нет, брат, не пускай ты их, не пускай!

— Да как не пускать? Товарищи мне и не какие-нибудь пустельги, прощальги, нет, люди талантливые, сам знаешь... Но и то верно, одуреешь с ними... Нет, ты не думай, я непременно отвяжусь, непременно, — продолжал Успенский с тем проникновенным напором, с каким убеждают не собеседника, а самого себя, — я вот тут, в Серапинской, задолжал, а как расквитаюсь, сей же миг в какую-нибудь обитель трудов и нег, чтоб без буфета, в безбуфетное пространство сокроюсь...

В затененном углу номера, на диване скрипнули пружины и трезвый пасмурный голос произнес: «Пора, мой друг, пора...» Решетников, как всегда, отрезвел круто. Невысокий, тщедушный, нашаривал пиджак. Потом стал вдевать в рукава, движенья были резкие, угловатые. «Где оно, безбуфетное?» — буркнул Решетников и, не прощаясь, ушел тяжелым, на всю ступню, шагом.

Последняя от него весточка была такая: «Сделайте божескую милость, пришлите три копейки, а если можно, то семь. Клянусь, при первой возможности...»

Когда Успенский приехал впервые в Петербург, он пошел

на Волково кладбище, поклонился Белинскому. Теперь, годы спустя, Успенский провожал на Волковом автора «Подлиповцев», автора «Между людей», провожал Федю Решетникова.

Март был теплый, земля разомлела, комья жирной глины плюхались на гроб, как жабы. Могильщики проворно махали лопатами. Рядом, на улице с печальным названием Расстанная, был кабак с неуместно бодрой вывеской: «Веселая долина». Да и то сказать, какой же дурак назовет кабак «Юдоль слез»?

Вдова Решетникова просила разобрать бумаги покойного – может, хоть что-нибудь сгодится в печать. Разбирая, нашел он клочок газеты: сообщались приметы мальчика, сына какой-то прачки, пропавшего без вести. Никаких набросков, никаких черновиков не было. «Я для себя ничего не ищу», – говаривал, бывало, Решетников издателям-наживалам. Он не умел издеваться, он умел презирать. Чем сильнее презирал, тем сильнее стискивал зубами черную трубочку с Жуковым табаком. Трубочка была маленькая, как в старину у кучеров, рот у Решетникова был большой. «Я для себя ничего не ищу...» Спозаранку до темна гранил панели – искал мальчонку, пропавшего без вести. Свои детки сидели голодом: «Сделайте божескую милость, пришлите три копейки...» Город грузно тонул в грубой перемеси дождя и снега., Шаркая худыми сапожонками, Решетников искал мальчика, пропавшего без вести. Решетникову было жарко, начиналась

горячка... Мускулы рук и ног свело у Глеба Успенского жгучими жгутами, он ослеп от боли и потерял сознание.

Некролог – слово о мертвом – напечатал Успенский в «Отечественных записках». Мартиролог – слово о мученике – произнес Успенский на литературном вечере, голос дрожал, прерывался: «Вечная память Федору Решетникову и вечное спасибо за простую и глубокую правду о простом русском человеке». И Успенский опять почувствовал судорожное подергивание мускулов. Ему стало не по себе, будто он провинился перед покойным вот этим своим физическим ощущением. Успенский поспешно отошел в угол большой залы, схоронился за портьерой и стал курить. Не дымить, как обыкновенно, не попыхивать, а курить короткими, с влажными всхлипами затяжками.

Выдержав траурную паузу, публика разместилась за длинным столом с самоваром и бутербродами. Позвали Глеба Ивановича, он сел сбоку, тронул стакан, но пить чай не стал, а продолжал курить, меняя в мундштуке одну папиросу за другой.

Публика, звякая чайными ложечками, вершила суд Париса. Говорили о Высшем Искусстве, где Решетникову, увы, места не находилось: палитра скудная, слог необработанный, а главное, нет философии, выраженной художественно.

Успенский ронял пепел на лацкан пиджака, на скатерть. Он не чувствовал ни гнева, ни раздражения, ни обиды. Он тосковал какой-то последней тоской. Не черной, не смурой,

а так, последней, и все тут. Не слушая, он слышал. Он молчал, а ведь молчать-то можно о многом. Он и молчал таким молчанием.

Высшее искусство, гений? О, гении видят жизнь словно бы сверху, а решетниковы барахтаются в безобразной житейщине. Гармоническая ясность слога? Да откуда ж ей взяться у решетниковых? Они кричат, большим своим ртом кричат, а кто ж, господа, кричит мелодически?.. Нет философии, выраженной художественно? Да она у него как лесная жимолость, осыпанная волчьими ягодами; жимолость сильно пахнет перед дождем, а волчьи ягоды и волки не едят...

Он хотел уйти незаметно, но в просторной прихожей, ярко освещенной, его догнала курсисточка, такая костлявенькая, в очечках, носик чижиком, никак не заподозришь *amoroso*<sup>1</sup>. И точно, она лишь хотела «высказаться». Максимов тотчас изобрел бы какой-нибудь обманный маневр и увильнул бы, Успенский эдак не умел.

Извозчик еще не успел взять с места, а она уже «высказывалась». Странно, у нее был приятный голосок, гневно позванивающий на словах – «идейность», «идейный», повторенных многократно. Успенский поднял воротник пальто и втянул голову в плечи, но все равно «идейный», «идейность» вились, как пчелы. Она говорила быстро, возбужденно, и это ее возбуждение отзывалось мелким поддрагиванием перышка на шляпке.

---

<sup>1</sup> Любовная тема музыкального произведения.

Барышня тоже осуждала Решетникова. Но не по кодексу эстетики, а по кодексу этики: Решетников не был идейным писателем, идейным человеком, ибо идейный писатель не ищет забвения в водке, а так как неидейный Федор Решетников находил забвение в водке, то и был он всего-навсего графоманом и таковым бы и остался даже и в том случае, если бы разбогател, ибо не был человеком идейным... Злиться было глупо, но Успенский разозлился, и эта его злость была запоздалой реакцией на давешнее, застольное, однако и барышне тоже адресовалось с ее звонко-гневными «идейность», «идейный».

– А известно ли вам, сударыня, – перебил барышню Успенский, – известно ли, что такое тупые ножницы? И эта женщина с Васильевского острова? В газетах было, читали, а? – Барышня будто поперхнулась, вытянув шею, смотрела на Успенского испуганно, указательный пальчик тыркался в переносицу, никчемно оправляя очки. – Не знаете про женщину, а? – не унимался Успенский. – Ну вот, вот, а туда же – «идейность»!

– Не понимаю, – оробела барышня, – извините, не понимаю, Глеб Иванович.

– Вот то-то и оно, ни черта лысого не понимаете, – продолжал Успенский с несвойственной ему грубостью и уже немного устыдившись этой своей грубости, однако не настолько, чтобы простить Федину «неидейность». – Тупые ножницы, сударыня, это... Нет, вообразите, вообразите, ес-



ли можете: у вас появилась некая настоящая мысль, ее надо высказать, она вас жжет, но тут-то, сразу же – другая мысль, встречная: а как бы эту первую, для тебя важнейшую, как бы это ее, голубушку, *ослабить*?! Ну, сами понимаете, для чего – да-да, чтоб цензура не угостила, чем ворота подпирают. И вот ты вертишься, как на сковородке, ты *сам* ослабляешь свою мысль, и это-то изнуряет, сударыня, изнуряет донельзя. Но все равно тупые ножницы цензурного комитета не минуешь. А они-то не бечевку стригут, не волосы, они нервы кромсают. И вот, извольте, сударыня, радоваться, распродался ваш покорный слуга построчно, полистно, осталась вешалка без сюртука. И стыдно, и тоска, и такое, знаете ли, чувство, будто солдатскую шапку жуешь. Не жевали? Попробуйте! А вы-то со стороны: раз идейный писатель, сиди и пиши про народ. А я вот своих товарищей, вконец и нуждой, и цензурой, и редактором изглоданных, да я ж их то и дело в больницу везу: белая горячка. Э, думаешь, наложу-ка на себя руки, не могу больше, сил нет. Одно останавливает – вашей сестры боюсь: «Ах, – скажете, – не идейный писатель был Глеб Успенский!» – Он усмехнулся. Бедная барышня не знала куда деваться, готова была из пролетки выскочить. – Нет, погодите-ка, раз уж мы «высказываемся», то давайте-ка и про Васильевский остров...

И все так же горячо, все так же волнуясь, он рассказал историю, действительно, страшную, происшедшую в одной из василеостровских линий. Какая-то карга из каких-то низ-

менных расчетов заточила женщину, кажется, родственницу, в чулане. И, заточив, держала там, пока случайно все не обнаружилось, *пятнадцать* лет.

— Вы можете представить, какова была женщина, выйдя из чулана? — Барышня, поникнув, поняла, куда он клонит. Он сказал горько, почти с отчаянием, сказал не только этой барышне, а и тем просвещенным, — «у Решетникова гармонии нет, палитра скудная», — этим тоже сказал: из чулана, господ, и Решетников, и все мы, да-с, из чулана.

Дальше ехали молча. Барышня все порывалась «не затруднять» Глеба Ивановича, она, мол, доберется, но он, не говоря ни слова, удерживал ее за рукав, и она как-то виновато покорялась, а ему было немного конфузливо: эва, из пушки-то по воробышку.

Показалось какое-то фабричное строение. На воротах фонари сидели, как филины. Извозчик придержал пролетку — ворота отворились, с фабричного двора потянулись ломовые телеги, волоча по булыжнику гром колес с чугунными ступицами. А следом тяжелым, желтым, махристым духом натекал запах производственный: то была фабрика фосфорных спичек.

Успенский высадил барышню у подъезда обшарпанного доходного дома и поехал к себе, в Серапинскую. Хотя пролетка давно миновала фабрику, смрад преследовал Успенского. Войдя в номер, он, не раздеваясь, только шапку бросил, склонился над умывальником, долго полоскал рот, от-

харкивался, отплеывался, сморкался, пока не убедился, что уже не чувствует желтого, тяжелого, смрадного. На всякий случай, как бы вторя движениям Максимова, он распахнул форточку. Но едва распахнул, как гнусная желтизна натекла опять, и это был запах, который губил фабричных, и это был запах чулана, который губил решетниковых, его, Глеба Успенского, тоже.

Переговоры о контрабанде, происходившие в приморской ресторации между капитаном Максимовым и писателем Успенским, завершились успешно. Два дня спустя пароход «Владимир», обновленный севастопольскими мастерами, пришел в Одессу и встал под погрузку.

В уездном городе Одессе правил бал Меркурий. Пароходы трубили, как тритоны. Пестрые флаги, как сороки, тараторили на ветру. Судовые рынды отбивали склянки. А высоко над рейдом, на сдобных подушках из дыма и мятого пара, возлежал бог торговли. Все здесь повиновалось ему – пароходы и парусные шаланды, шкиперы и матросы, подрядчики и артели грузчиков.

«Владимир», седея от пыли, оседал до ватерлинии. Счет шел четвертями. Не казенными, в девять пудов, а теми, что назывались нижегородскими – двадцать четыре пудика каждая. Четвертями поступала в трюм благодать Новороссии, пшеница-арнаутка, твердая, весомая, челночком. А рядом тяжело вздыхала машина собрата «Владимира» по ломовой

работе на линии Одесса – Марсель. Цепь, тащившая якорь, клацала соединительными скобами.

Из этого аляпистого звука возник гимназический инспектор, стал рядом с Успенским и тоже смотрел на портовый город Одессу, на рейд, пароходы, шаланды. Потом сказал: «Ты видишь, мы расширили свои пределы...»

Инспектор не только инспектировал гимназию, а и преподавал историю Российской Империи. Исполняя обязанности инспектора, он пламенел страстью к фрунтовому порядку: пусть в одном классе сидят Ивановы, в другом – Петровы, в третьем, скажем, Смирновы; он занумерует каждого, как однофамильцев-офицеров. И чтобы все-все с окончанием на «ОВ». Как учитель истории он знал другую страсть. Указкой-шпагой пронзал супостатов: «Мы взяли... Мы покорили... На плечах отступающего противника мы ворвались...» И в заключение восклицал: «И вот мы расширили свои пределы от... и до...» Гимназисты, притаив дыхание, воодушевлялись гордой слитностью своего мизерного, с поротой задницей «я» и ребросокрушительного «мы», способного всем языцам дать карачун.

Ах, инспектор, инспектор, плохим учеником оказался Успенский Глеб, совсем плохим. Весной и летом ездил по Новороссии и думал не о Потемкине, а о том, сколько же пролилось кровушки чудо-богатырей. А сейчас с палубы видел море, и тоже думал о кровушке чудо-богатырей. Минувшее «от и до» очерчивалось штыком-молодцом, нынешнее –

оралом. И завершалось вот этими нижегородскими четвертями. В минувшем были отцы-командиры и реляции; в нынешнем – живорезы и гешефты.

Успенский не писал: «буржуа», Успенский писал: «буржуй».

Буржуа учиняли революции и совершенствовались не только колбасные изделия, но и машины. А Тит Титыч, хапнув дворянские родовые, облапил мамзелю: гы-гы-гы, что хошь куплю, что хошь продам; эй кто там? шампанского и паюсной икры... Буржуазии не было, была буржуйная орда. Впрочем, Тит Титыч уже прельщались *«рыском»*: мериканцы, которые в Америке: у тех, слышь ты, рыск. Ловкий народ, деньги сами в карман плывут, знай только рыск... Они путали «риск» и «рыскать», но из путаницы этой уже произросла вереница дармоедов – «от» пахаря «до» здешних артельщиков и матросов.

Грузчики, мужики орловские и курские, выгоревшие добела на южном солнце, чередой поднимались по сходням.

Курсом Одесса – Марсель «Владимир» не миновал Константинополя. Максимов требовал, чтобы Глебушка крикнул: «Виват!» Успенский, улыбаясь «наполовину», говорил, что улыбка будет «полной» после благополучного возвращения в Россию на том же самом «Владимире».

Так как обратный путь я описывать не буду, надо проститься с Максимовым. А жаль. То-то бы придал веселой

энергии этой повести. В самом деле, что за человек! Уже сказано: лет двадцать тому сменил кортик на перо. Он писал и печатался, но Петербург был ему тесен. Максимов добровольцем воевал в Сербии с турками. Под командой Скобелева сражался за свободу братушек болгар. Лет шесть жил в Америке, сотрудничая в «Нью-Йорк геральд». Но море всегда резонировало в душе, как в раковине. Он плавал на русском Севере, теперь плавал в южных морях. Прибавьте, красавец, добряк и славный товарищ. Жаль не взять такого персонажа, да делать нечего, повесть не роман.

Контрабандно, беспачпортно он доставил Глебушку в туретчину. Барабаны-тулумбасы, играйте туш! Успенский сажился в шлюпку, Максимов махал фуражкой.

Прогулку, предложенную Максимовым, Успенский принял не потому, что проезд не требовал затрат, хотя и это имело значение. И не потому, что тянуло на «рыск»; риск по тогдашним временам был невелик. Он согласился съездить в Константинополь в надежде стряхнуть с себя изнурительный *гон*.

Глеб Иванович и самому себе не смог бы в точности сказать, где и когда он впервые ощутил эту гнетущую охоту к перемене мест.

Смолоду он месяцами находился в пути. Он познавал Россию! Промозглые полустанки, проселки, пьяный скандал за стеной в какой-нибудь провинциальной гостинице, дрянную снедь в каких-нибудь «Грезах Лиссабона» – все это он при-

нимал как неизбежность.

Исподволь, в неуследимые дни поездки стали чем-то похожим на гон. Не грешник, гонимый бесами, и не облако, гонимое бурей. Нет, не гонялый зверь, поднятый с логова еще до того, как его вспугнет своим заполошным гамом охотничья свора. Как и прежде, наблюдал, размышлял, писал, но и наблюдал, и размышлял, и писал, словно бы дрожа нервной дрожью. Его мотало по России в поисках светлых, гармонических мотивов российской действительности. Он искал и не находил, он был гонялым зверем. И потому согласился на краткую беспачпортную отлучку.

И вот он увидел город, теснившийся к берегам Золотого Рога. Славны бубны за горами. Толчея, вонь, раздрызганные конки, шайки шелудивых псов. И вавилонщина, ничего не поймешь.

Он укрылся в православном подворье. Подворье кишело богомольцами. Одни направлялись к палестинским святыням, ко гробу господню; другие – в единоверную Грецию, на Афон. Пилигримов метило выражение суетливой озабоченности, будто на узловой станции, когда ударил колокол.

В келье было душно, как в валенке. Толстые мухи, роясь столпом, гудели зауспокойно. Пованивало варевом, сальным, нечистым. Вот, брат, «твой щит на вратах Цареграда». Он затосковал. Сей бы момент променял и щит, и врата, весь Царьград на какой-нибудь Царевококшайск, а уж на Царицын-то и подавно.

До Царицына было далече, до царицынского уроженца – близехонько. В том же коридоре, в такой же комнате-келье квартировал Ашинов.

Дело было ранней осенью восемьдесят шестого. Стало быть, за несколько лет до возникновения Новой Москвы, описанной впоследствии доктором Усольцевым. Но Ашинов-то, оказывается, уже тогда высмотрел подходящую широту и долготу для счастливой Аркадии. Возвращаясь в Россию за доброхотами и добровольцами, за теми, кого он назовет «вольными казаками», будущий атаман дожидался парходной оказии. Его проекту нужен был глашатай. Случай посылал Ашинову известного писателя, которого он не читал, но о котором слышал. И когда магометанские созвездия неприязненно сощурились на православное подворье, г-н Ашинов отправился к г-ну Успенскому.

Г-н Успенский, сидя верхом на стуле и свесив руки, опасно поглядывал на деревянную, с тощим тюфяком кровать. Клонило в сон, но кто ж не знает – где попы, там и клопы. Добро бы отечественные, а тутошние, надо полагать, яры, как янычары. Из хмурой опаски вывел г-на Успенского сосед-постоялец.

То был рослый, крепкий человек, упрямо-лобастый, борода в каржавых подпалинах, смотрел весело, зорко, эдаким ловцом душ. Черкеска с газырями красиво и плотно облегла его сильную грудь.

Служка принес чаю и баранок, это хорошо, а то, поди, во



всем Цареграде нету, лопай рахат-лукум или как там еще. Служка ушел, можно было брать разбег – так, так, Николай Иванович, откуда и куда изволите и прочее. Ашинов, однако, без предисловий овладел вниманием г-на писателя.

Речь шла о переселении, о поселении. От добра добра не ищут. Люди не птицы перелетные; в путь трогаются, исход предпринимают, когда совсем не в состоянии. Из множества русских вопросов Глеба Ивановича особенно больно брал за душу переселенческий. Ох, извечные поиски Беловодья и Синегорья, смерть переселенца в дороге, сопливенькая девчушка, плетущаяся за мамкой, у мамы грудной на руках. И всегда почему-то моросит, моросит холодный, до костей, дождик... Проект же этого, в черкеске с газырями, не исчерпывался переселением. Этот предусматривал «вольное устроение». Говорил, будто шашкой лозу рубил, вроде бы даже с присвистом: земля и мужик на земле; никакого начальства со стороны, все выборные; трудно будет, да где наша не пропадала. И гвоздем: вы бы, уважаемый Глеб Иванович, об моем почине в газетках порадили.

– Намерения у вас хорошие, – сказал Успенский и головой покачал. – Намерения.

– Слова не останутся словами, – заверил Ашинов.

Успенский помолчал, потом спросил:

– В Ленкорани бывать не случилось?

– На Кавказе живал, кунаки есть, – ответил Ашинов. – В Ленкорани не приходилось.

– А мне приходилось.

Он был там весной. Каспий штормил, берега гремели, как порожние бочки. Туман плутал в тополях, уже зеленых; белые домики напоминали малороссийские мазанки.

Извозчик подрядился свезти Успенского в недалёкую от Ленкорани слободу Николаевку. Глеб Иванович спросил извозчика, слышал ли он о Михаиле Попове? Оказалось, слышан: был-де Попов свят, но и простоват был, это тоже так.

Больше полувека тому не здесь, у Каспия, а в Заволжье Михайла Акинфович Попов основал «рабочее согласие», в обиходе – «общие». Положил краеугольное: что недвижимое, что движимое – не твоё, не моё, а наше. Должности тоже вот, как и этот, с газырями, предлагает, должности были выборные: и заведующий общественным амбаром, и учитель, наставник праведности, и «видители», контролеры, чтобы все укладывалось в справедливость. Выборных обязанностями наделили, а правами обделили. И стали работать на общей земле, общими орудиями, общим скотом... Окрестные мужики, почесывая в затылке, приговаривали: «Одначе!» Смысл этого замечания заключался, вероятно, в том, что начальство не потерпит. И точно! Хотя «общие» не чинили ни зла, ни беспокойства, вышла «бумага», и Попова погнали в Сибирь, а прочих – под красную шапку, во солдаты... Утекли годы, натекли «вехения», единомышленники, преданные «согласию», помаленьку собрались на краю империи, у Кас-

пия. Попов, уже старик, вскоре преставился. Его оплакивали не скупой слезою. Осиротев, все заверяли друг друга в верности заветам усопшего...

Обо всем этом Успенский слыхал, все это очень его занимало, однако с поездкой в Ленкорань медлил. Не раз ведь мужики говорили: «Нешто с нашим народом можно? Ты, барин, возьми примером хоть такое. Ну вот, значит, стакнулись, положим, гать настелить, объездом крюк большой, а с гатью близко, доплюнешь. Ладно, ударили по рукам. Глядь-поглядь, каждый норовит объегорить другого, крику-то, брани-то, я, ста, больше Митьки силов кладу, я, ста, семь потов пролил... Ну, бросили. Не, барин, разве с нашим народом можно?» Вот этого «разве можно» и не хотелось увидеть Глебу Ивановичу. Да, конечно, «общие» искренне поклялись: дескать, уходя от нас, Михаила Акинфьевич то-то и то-то заповедовал, мы от сего ни-ни, не отступимся. Эхе-хе, черт-то не дремлет. И по-настоящему набожные монахи – монашат: лицемерят, изловчаясь так ли, эдак ли, а нарушать обет, принятый добровольно. Природа свое берет, «коль выгонят в окно, так я влечу в другое». Вот он и медлил ехать в Николаевку, а теперь, приближаясь к слободе, ощущал на губах слабую, просительную улыбку, будто упрашивал «общих» не обманывать его надежду на возможность «согласия».

Увы, черт и вправду не дремал. Когда-то общинники строили братьям одинаковое жилье, селились без плетней, без частоколов. А нынче? Увы, грустно поглядывал Глеб Ива-

нович на дома и домишки, хаты и хатенки. Каждый отгораживался, заслонялся от соседа. А это что ж такое? За крепким, ни щелки, забором возносились высокие хоромы, крытые железом.

— А это на́больший, это Иван Антоныч жительствоуют, — язвительно пояснил извозчик. — Псы на дворе — ого! — не подходи, разорвут. Восприемник, стало быть, покойничка, вот я и говорю, простоват был. — Не трогая лошадь, он для виду помахал кнутом да вдруг и прибавил благодушно: — Все мы, барин, Евстафии. Ну, этот, кот-то Евстафий, и покался он, и постригся, и посхимился, а все во сне мышей ловил.

Некий Иван Антонович чаще всех божился именем основателя «общих», прямо-таки с уст не спускал. И, возглавляя общинников, не мышей ловил — нанимал ватагу, промышлял белорыбией, большой деньгой обладал.

Впору заворачивать оглобли? Нет. Неохота было с порога признать, что все поросло травой забвенья.

Старики-ветераны гордились и руководством Михаила Акинфовича, и своими праведными трудами, словом *былым* гордились. А «теперешних» осуждали. Одни гневно — разбаловались, мол, испортилась порода; другие — недоумевали: и откуда только пагуба взялась, не иначе как наслали окрестные инородцы. Общественные работы заглохли, общественная столовая выстудилась, а общественная касса — что кружка у пожарника-погорельца.

«Теперешние», охотно толкуя с Глебом Ивановичем, над

стариками-ветеранами отнюдь не посмеивались, уважали, а все же по наряду на общие работы ходить не хотели, потому что... Вот в городе, говорили, водопроводы завели, во все, значит, дома воды вдоволь, и вода одинаковая, что тебе, что мне, а не все ж поголовно в один и тот же час эту воду пьют, постирушку затевают или щи варят, не-ет, каждый по своей надобности, по своему обыкновению.

Однако и старые, и молодые, равно признавая порчу «согласия», признавали, что так быть не должно, а должно быть иначе. И покаяние было, и надежда светилась. Уповали они на будущие поколения, у этих, мол, аккуратнее будет, ежели, конечно, затеплить в детской душе совестливость. Затепливая, себя не щадили: из нас, детушки, все доброе, все благое неприметно выползло и остались, как от змей выползки, шкурки...

Вот про этих-то «общих» и рассказал, коротко рассказал Глеб Иванович за чаем с баранками. Ашинов, отирая полотенцем красное крепкое лицо, отвечая, что у него там-то, в Африке, слово с делом не разминутся, и, будто присургучивая какую-то невидимую заповедную хартию, пристукнул кулаком по столешнице, а Глебу Ивановичу вдруг и мелькнуло давнее-давнее, когда он играл роль самозванца и его настигали минуты искренней уверенности в своей власти, в своем призвании.

Еще на студенческой скамье водил он дружбу с Прошкой

Григорьевым. Прошкин дядюшка, отходя в лучший мир, отказал племяннику солидное имение в Саратовской губернии. Григорьев променял Москву на глушь. Там он до такой степени проникся состраданием к сеятелю и хранителю, что готов был отдать не только свою землю, но и все помещичьи во всех губерниях. Мужики стали за версту кланяться барину-недоумку. Однако, поразмыслив, Григорьев заключил, что его благородный подвиг не поддержат владельцы ветшающих ампиров. И он предался грезам об экспроприации – кровавой и грозной, необходимой и праведной. Об эту пору Успенский ненароком завернул в Прошкины пенаты. Григорьев обрадовался старому приятелю. И не замедлил формулировать свою доктрину «Будешь великим князем Константином». Успенский отшутился: Романовым, мол, не хочу, буду Мартынкoй-царевичем. Величаться ли царским братом, благополучно здравствующим, или Мартынкoй-царевичем, давным-давно отгулявшим в широких, как воля, оренбургских степях, не в том была суть. А в том, что мужик непременно взбунтуется, лишь бы призыв был от царева имени, от августейшего, а не от городского шептуна-пропагатора. Глебушка нашел невозможным обманывать мужика, и без того кругом обманутого. Прошка возражал примером Пугачева: верил иль не верил мужик в то, что Емелька есть ампиратор Петр Третий, корень-то был в земле. Проня так приста-вал, что Глебушка махнул рукой. Добро, будь по-твоему, сам убедишься, каков ты балбес.

Ну, и поехали на простых дровнях. Был февраль, избы дымились не столбами, а волоком – к метелям. И верно, забураило и верхом и понизу. Они едва тащились. Григорьев ничуть не походил на придворного кучера – рожа, как рогожа, глаз кривой. А великий князь Константин, завернувшись в тулуп, ничком иль бочком валялся на соломе, злясь на балбеса Прошку и стыдясь своей дурацкой роли в его дурацкой затее.

Дело обыкновенно делалось так.

Останавливались у кабаков, тоже, знаете ли, «народных заседаний проба». Великий князь продолжал возлежать на соломе. Кучер нырял в заведение. Невдолге выныривал из клубов пара, за ним – гурьба мужиков, все без шапок, у одного полуштоф, у другого миска с закуской. Глебушке было и смешно, и срамно, он с головой прятался в тулупе. «Вот, ребята, царев брат родной, – объявлял великокняжеский кучер негромко и внушительно. – Его императорскому высочеству заказано до срока свой светлый лик явить. – Он подмигивал кривым глазом. – Сперва, ребята, надобно их высочеству иметь убеждение в вашей готовности. А тогда уж оне знак подадут, а вы, как верные подданные, не теряя времечка, отымайте у господ землю». Мужики, крестясь, опускались на колена; один протягивал полуштоф, другой – миску с закуской. «Нет, ребята, пить их высочеству ни-ни, опасно покамест. А я за вашу решимость приму. Благодарствуйте». И они скрывались в снежных вихрях. Молва о царевом брате

обгоняла метелицу, самозванца встречали хлебом-солью.

Обман и безобразие, а поневоле признаешь, что Григорьев не такой уж дурак. Сто лет минуло, а выходило по старой пугачевской пьесе. Мужiku было, вообще-то говоря, наплевать, кто это там на соломе, в тулупе, главное, чтобы призывал к черному переделу именем царевым. Тут и отчаянность тлеа – эхма, авось возьмем; тут и лукавство, хитрый расчет притаился – промашка выйдет, тотчас, известно, туру-ру, солдатский рожок, а у мужика-то за пазухой пригреето голубиное оправдание: царь-государь повелел, как можно неслухом?.. Нет, Глебушка, не унимался Григорьев, не ты мистифицируешь мужика, это он тебя мистифицирует. Однако великий князь не учинил мужицкий бунт, а сам взбунтовался, и вся эта феерия развеялась февральскими буранами.

Но, черт возьми, осталось в душе и некое недоумение. Странная штука! Бывали минуты – и вдруг он верил в мощь свою, власть и призвание. Вот, может, и этот Ашинов тоже?

Николай же Иванович, наседа на господина Успенского, чтоб, значит, «прописал в газетках», выложил козырную карту. Карта была географическая. Пунктир, висясь муравьиной цепочкой, изображал пароходный маршрут из моря Черного в море Красное близ африканского берега и далее – в Индийский океан, а на африканском берегу, в Таджурском заливе, чернел аккуратный квадратик – Новая Москва, поселение вольных казаков и вместе с тем морская станция для



судов Российского общества пароходства и торговли.

– Каково? – спросил, избочась, будущий атаман Новой Москвы.

А Глеб Иванович слышал: «И мы расширили свои пределы...»

Была у нас в Колмове дубрава, молодые дубки и старые, корявые, дуплистые. Там любили играть детишки больничных служителей. Любил прогуляться и Глеб Иванович. Но мне дубрава помнится невесело. И день-то был погожий, жаркий, стрекозы зависали на лету, а помнится как бы осенним, когда мрачно ухает серая неясность. Да она будто бы и ухнула, едва Глеб Ив. произнес: «Буланже!»

Начну несколько издалека.

Я был убежден, что давно уж, еще в африканских своих записках, предал анафеме атамана Ашинова, загубившего святую идею Новой Москвы. Но – разбойник?! аванюрист?! самозванец?! Нет, по-моему, Глеб Ив. и упрощал, и несправедлив был. Я не знал, что Н.И.Ашинов намеревался устроить морскую станцию, то есть державно утвердиться на важном для всей Европы коммерческом пути сообщения. Не знал, но и это не склонило меня к согласию с аттестацией, выданной Глебом Ив. нашему атаману, будь он трижды проклят.

Моя душа не принимала изначальноности ашиновской лжи, ашиновской авантюристности. Ну хорошо, добро бы я, молодой

и, пожалуй, восторженный, я один видел нимб над головой вождя Новой Москвы. Так нет же! И крестьяне-колонисты, народ тертый, осмотрительный, тоже. И мой друг, отбывший ссылку, умный, проницательный М.П.Федоровский. Да все, пожалуй, верили атаману, верили в атамана, иначе кто бы устремился за ним и с ним в неведомую даль? Откуда они, вера и доверие? По Глебу Ив. выходило, что и тайна-то не ахти уж какая: «Буланже!»

Мысли Глеба Ив. нередко набирали такую скорость, что речь его напоминала восхождение по крутой лестнице через две-три ступеньки. Боясь отстать, я старался лишь покрепче ухватить сказанное, чтобы уж потом, на досуге, додумать, поразмыслить. Вот и Буланже выскочил, как пробка, но Глеб Ив. тотчас указал на родство французского генерала и нашей продувной бестии в неизменной черкеске.

Лет десять тому, может, чуть больше, о Буланже много писали в газетах. Офицером он участвовал в захватных колониальных экспедициях. Генералом занимал кресло военного министра Франции. Все это плавно вписывалось в карьеры, коим несть числа. Но Буланже был слишком честолюбив и властолюбив, чтобы удовлетвориться министерским креслом. Лавируя, он шел к диктатуре.

Сопоставляя нашенского с французом, Глеб Ив. сказал, что и тот и другой, ясное дело, не могли же действовать в одиночку. У того и другого были свои сторонники, приверженцы, партии. Будь у Буланже под рукой лишь отпетые

негодяи, по которым веревка плачет, тогда бы и толковать не о чем. Что до ашиновцев, то я бы и Шавкуца Джайранова, начальника тайной полиции в Новой Москве, я бы и Шавкуца помедлил повесить на плачущей веревке – темный человек, он служил Ашинову, как мюрид имаму.

Итак, оба имели сторонников, преданных цели, чистых, искренних. И отсюда опять вот это, упомянутое мною выше, то есть вопрос вопросов – откуда они, вера и доверие?

Глеб Ив. остановился посредине аллеи. Я тоже. Он посмотрел на меня, скрестил руки на груди и произнес чужим голосом, с поддельным воодушевлением: «Господа! Не беспокойтесь! Доверьтесь мне, господа, я все знаю-с. Следуйте за мной, господа, и не беспокойтесь».

Вот, черт возьми, обыкновенный перескок через две-три ступени. Прервать его было опасно, он мог ничего не ответить, мог ответить невпопад, его рассеянность была высшей сосредоточенностью, но я был так озадачен этой неожиданной позитурой – скрещенные на груди руки, чужой голос, все прочее; так был озадачен, что Глеб Ив., словно бы пожалев меня, умерил прыжки своей мысли.

О вере, о доверии так говорил. Мол, от времени до времени наступает минута неотразимости коренных вопросов жизни. Все это знают, понимают, страдают, бьются головой об лед, у многих, смотришь, кое-какие замечания-примечания к вопросу о том, чего же, собственно, делать, что предпринять, однако все только топчутся, кружатся, перебрани-

ваются, никто не решается поднять знамя. И не от недостатка мужества, а от недоверия к самому себе – ну что, дескать, я, кто я такой, чтобы сметь. И вот тут-то возникает Некто... (Глеб Ив., скрещивая руки на груди, как раз и изобразил этого Некто.) И возвещает городу и миру: «Не беспокойтесь, господа! Доверьтесь мне, не беспокойтесь». Тотчас все мы из тины-то своей и выползаем на берег, как раки перед дождем. Возникает энтузиазм, вот как после севастопольского погрома, после Крымской, энтузиазм, да; закипает деятельность, лес рубят, щепки летят... и... смотришь, «на нивах шум работ умолк», а на дорогах рыщут волк с волчихой, все те же коренные вопросы жизни нашей. Ну, тут уж мы, кто шибче, кто медленнее, уползаем в тину, как раки после дождя, мысль наша ослабела, совесть наша пустоцветом, уползаем, стало быть, до следующего Некто.

Я не поддакивал. Люди не раки, прогресс неостановим, прогресс происходит. Далее. Не прощая Ашинову ни загубленную идею, ни репрессии, осуществленные посредством Шавкуца Джайранова, я все же усматривал в нашем атамане жертву обстоятельств, фигуру трагическую, и не желал ставить его на одну доску с насквозь проплеванным французом Буланже.

А ведь тот, задумчиво отозвался Глеб Ив., кончил самоубийством. Одни говорили, что причиной политическое фиаско, другие объясняли скоропостижной кончиной мадам Бонневен. Буланже любил ее, любил, как редко теперь лю-

бят, и... А ваш-то «трагик», ваш Ашинов, этот себе-то пулю в лоб нипочем не пустил бы. Бьюсь об заклад, никогда, нипочем. В чужой лоб – с полным нашим удовольствием; в собственный – нет уж, дудки. Ну, на себя, доктор, примерьте, вы бы из-за любви, а?

О мадам Бонневен я никогда и не слыхивал, но тут другое было. Я почувствовал спазму сердца, точь-в-точь как годы, годы тому, ночью, на пустынном берегу Таджурского залива, когда падали звезды, когда мелкие волны лизали песок и гальку, а я больно, пронзительно, ясно осознал безнадежность моей любви к Софье Ивановне Ашиновой.

В африканских записках она не раз упомянута, однако моя любовь к ней даже и в записках, для себя одного писанных, запечатана семью печатями. А так как Глеб Ив. мой «меморий» читывал, я и вообразил, что он эти печати сломал. И, вообразив, почему-то струсил, испугался, будто пойманный с поличным, да и прострочил заячьей стежкой, что Ашинов был счастлив в любви, что жена его, С.И., в девичестве была Ханенкой, из тех самых, в Малороссии известных, даже и гетман был Ханенко; словом, прострочил невесть для чего, так, с постыдного перепугу.

Глеб же Иванович, думая о чем-то другом, рассеянно молвил, что какие-то Ханенки жилали в Чернигове, когда он, Успенский, учился в тамошней гимназии.

Донесся звук больничного колокола, звонили к обеду, и я обродовался концу нашего променада в дубовой роще.

Чернигов – это отрочество; родиной, детством была Тула. Он потом написал «Нравы Растеряевой улицы», так это про Тулу.

Дом его деда стоял на улице Остроженской, близ тюрьмы. Одним концом улица впадала в Хлебную площадь, другим замирала у кладбища. Такая, стало быть, топография детства.

Кстати сказать, д-р Усольцев касается в своей тетради предмета, отнюдь не безразличного медикам, психиатрам в особенности, – наследственности. Ныне, кажется, выражаются мудренее: генетический фонд. Едва Глеб Иванович, пишет д-р Усольцев, поступил в Колмовскую больницу, будучи в состоянии тяжелейшей депрессии, как Б.Н. Синани все же счел возможным расспросить его про дедушек-бабушек, о дядьках-тетках. И Глеб Иванович, несмотря на свое состояние, «очень толково», то есть понимая непраздность вопросов Б.Н., отвечал, что по материнской линии, Соколовых, у него за плечами заурядное провинциальное священство, исключая деда Глеба Фомича, достигшего «степеней известных», знатока латыни и древнегреческого, ревностного, до фанатизма, сторонника неукоснительного законопослушания; по линии же отцовской – чиновничество, тоже провинциальное, впрочем, не вполне заурядное, а с некоторыми художническими наклонностями. Синани, пишет далее д-р Усольцев, держался разумной методы – объяснял па-

циенту, почему, для чего, зачем важно знать о семье и предках пациента. Глеб Иванович усмехнулся: «Темна вода во облацех».

Итак, дом Глеба Фомича Соколова, где текло безбедное детство Успенского, стоял на Остроженской, неподалеку от тюрьмы.

В острог, по тогдашнему трогательному обыкновению, издревле принятому в России, в острог этот по воскресеньям, а на двенадесятые праздники тем паче, носили подавания. Арестантский двор гремел кандалным железом. Полуобритые головы напоминали серый булыжник. Принимая милостыню, арестанты благодарно роняли головы на грудь, казалось, булыжники падают, падают к ногам. В остроге Глебушка не плакал. Он плакал, возвратясь домой. Его чувствительность трогала маму и папу. Но плакал мальчик не только от жалости к «несчастливым», но и от чувства вины перед ними; объяснить же свою вину не умел ни себе, ни папе с мамой. А гимназия стояла на площади, где вершились торговые казни. Палач кнутабойствовал, преступник кричал, спина у него, вспухая, делалась багровой и сизой. Истошный крик «ааа» вдруг пресекался, а миг спустя исторгалось огромное, как колесо, «ooo», и Глебушке казалось, что в этом «ooo» ужасное, невыносимое изумление человека, изумление перед тем, что вытворяет над ним кнутабоец, широко и прочно, как столбы, утвердивший ноги на бревенчатом помосте-эшафоте. Гимназисты, пихаясь, едва не вываливаясь из

окон, глазели на экзекуцию, прищелкивая языками, сглатывали слюну, и переглядывались, и подмигивали друг другу, давая понять, что им нисколько не страшно и даже весело. А вот этому Глебке, тьфу, неженка, этому страшно, никогда к окнам не протискивается... Все кончалось, преступника сносили с помоста за руки и за ноги, полубритая голова моталась, как кочан. Толпа редела, уроки продолжались. Глебушка, как оледенелый, не мог понять ни давешнего восторга сверстников, ни этого, словно ни в чем не бывало, бу-бу-бу учителя.

Острогом, Остроженской, торговой площадью начиналась дорога в каторгу. Туда не шли, не ехали, туда – *гнали*. Он смотрел, как их гонят, пыль застит солнце и скрипит на зубках, и першит в горле. А их все гнали, гнали, и они, гонимые, тянулись по Остроженский в сторону погоста. Там была безымянная могилка, говорили, что по ночам над этим холмиком, то укорачиваясь, то удлиняясь, вздыхает, теплится огонек – тоскует, страждет, жалуется чья-то безвинно загубленная душа.

В доме Соколовых читали молитву и укладывались спать. Мама, склоняясь к его изголовью, ласково говорила: «Ах, Глеб, у тебя опять глаза на мокром месте» – и целовала сына. Все засыпали, кроме сверчков и мальчика. Он лежал тихо-тихо, не шевелясь, опять он был виноват, виноват перед теми, кого гнали и уже угнали, а на обочинах тех бесконечных дорог, по которым их гнали, теплились огоньки, огонь-



ки, огоньки.

Он лежал тихо-тихо, не шевелясь, и вдруг вздрагивал всем своим тельцем, потому что сквозь потолок, с неба, должно быть, и сквозь пол, из-под земли, должно быть, раздавалось грозное: «Пропадешь!» Да-да, ничего не придумываю, читатель, это же сам Глеб Иванович говорил в Колмова-д-ру Усольцеву: «Как только начинаю себя помнить, чувство какого-то тяжкого преступления тяготеет надо мной. «Пропадешь!» – кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери». Понимаете? Пре-ступ-ления! С таким вот камнем-то легко ли?..

После Тулы был Чернигов. В тульской гимназии его звали «Глебом», «Глебкой», в черниговской – «кацапом». А еще были «жиды», этих он в Туле не видел. Гимназист Успенский Глеб не говорил: «жид», потому что ему говорили: «кацап». Гимназист Успенский Глеб впервые ощутил горечь ничем не заслуженной отверженности. В Туле он был великороссом среди великороссов. Тут он был одним из немногих. Отщепенство уравнивало «кацапа» с «жиденятами».

Там, в Чернигове, как и повсеградно, отзвонили колокола, возвестившие, что император Николай Павлович почил в бозе. Потом на дальнем юге отгремели севастопольские пушки, возвестившие невозможность жить, как жили. Явились молодые учителя. И «хохлам», и «кацапам», и «жидам» предлагали: «Вот, господа, читайте «Письмо Белинского к Гоголю». Поймете многое». На уроках не допрашивали, а спрашива-

ли: «Вы все уяснили?» Ответишь утвердительно и садись – получай «пятерку». Выюноши восторгались молодыми учителями. И потешались над простаками: ты мне «пятерку», а я тебе шиш без масла. Внимая призывам к совести и чести, выюноши лгали. На экзаменах обнаружился ноль. Молодые учителя были в отчаянии.

Когда мы, услышав колокол, шли обедать, мальчики и девочки, дети больничных служителей, торопясь, доигрывали свои игры. Я не раз замечал, как тянет Глеба Ив. приласкать детишек, но он, словно бы силком, удерживал себя. «Боюсь испугать...»

Я об этом к тому, что дети-то, в отличие от взрослых, по той либо иной надобности посещавших Колмово, дети не сторонились больных. Случалось, правда, дразнили и с визгом кидались врассыпную, но то была забава, и только. Зато какое понимание, проницательность какая, это уж сердцем, сердцем.

(Помню, мальчишечка, сын ночного сторожа, как водится, из отставных солдат, мальчишечка лет десяти – двенадцати серьезно, вдумчиво объяснял младшей сестрице: «Они не бешеные, им страшное снится». Девочка спросила: «Почему страшное?» «А это как тебе после страшной сказки, – сказал мальчик, – только у них не сказка была, а взаправду было». «А я заплачу и проснусь», – сказала девочка. «Да они ж не спят, – все так же серьезно, вдумчиво объяснял маль-

чик, — они ж с открытыми глазами страшное видят, как же проснуться? И вот смотрят, смотрят, а сами думают: вдруг по-хорошему обернется, тут и сказке конец».)

Мы были уже на больничном дворе, когда на дорожке показалась ладная фигура Егорова — торопился, почти бежал, увидев Глеба Ив., замахал руками, что-то крикнул.

Два слова о Егорове, чудовском крестьянине, из тех самых мест, где у Глеба Ив. был свой дом. Егоров после несчастья — пожар случился, все выгорело — совсем, как говорят мужики, ослабел, то есть в хозяйственном смысле ослабел, да и нанялся больничным служителем. С Глебом Ив. они были вроде бы земляками, Егоров при нем состоял как бы дядькой, и, надо признать, замечательным. Не потому лишь, что услужал усердно, и не потому, что неукоснительно исполнял предписания фармацевтические и процедурные, и не потому даже, что его спокойное, открытое лицо так и светилось приветливостью, а как раз потому, что свет этот гас, сменяясь выражением оскорбленного достоинства, когда Глеб Ив. впадал в мрачную раздражительность. Да, Глеб Ив., воплощение деликатности, бывал с Егоровым, мягко выражаясь, несдержан. А потом ходил, что называется, поджав хвост, унывал, покашливал, заглядывая Егорову в глаза. Тот не ворчал: «Ладно, чего уж там...» Напротив, твердо объявлял, что он человек вольный, не холоп, не дворовый, работает по найму, права свои знает. И заключал: «Ежели коли еще раз, пеняйте на себя — поколочу!» Вот это «поколочу!» и бы-

ло уже отпущением грехов, прощением, амнистией, и Глеб Ив. смеялся, радостно потирая руки, а Егоров ворчал, что он вовсе не шутки шутит, а прибьет взаправду, невзирая на какую-то там систему «нестеснения». Система не система, а он действительно любил Глеба Ив. жалостливой, снисходительной любовью. И вот еще что. Небольшие суммы, присылаемые женой Глеба Ив., хранились у меня, и он нет-нет и выманивал два-три рубля. Выманив, тотчас раздавал служащим. Егоров *никогда* не брал и пятачка.

За несколько дней до приезда в Колмово г-жи Успенской у Глеба Ив. вышло с Егоровым столкновение особого свойства. По словам последнего, он утром, как обычно, принялся за приборку, а Глеб Ив. ни с того, ни с сего замолотил по столу кулаком, ногами затопал и стал криком пенять в том смысле, что он, Егоров, природный крестьянин, из лучшего в России сословия, а он, Егоров, вместо того, чтобы крестьянствовать, землю пахать, веником шваркает и его, Успенского, ночную посудину выносит и т. д. и т. п. Ударил Глеб Ив., видать, по открытой, незаживающей ране. Егоров мне признавался, и я уверен, так бы и приключилось, признавался, что еще бы минута – и он, право, вздул бы барина-обидчика, но тут Глеб Ив., уронив голову, повинно, тоскливо молвил: «Эх, Андрей Петрович, жить бы нам с тобой не здесь, а в избе» – и заплакал. Егоров, однако, не остыл, хлопнул дверью, пришел ко мне и угрюмо попросил перевести в другое отделение, он-де ни за какие коврижки услужать г-ну

Успенскому не станет. Я долго уламывал Егорова. Он наконец нехотя согласился, сказав: «В последний раз, а там хоть режьте...» Согласиться-то согласился, но держал вооруженный нейтралитет, и Глеб Ив. сокрушался: «Бойкот объявил, волком смотрит».

А сейчас «волк» бежал по дорожке, махал руками, улыбался, выкрикивал: «Лександра Васильевна приехали! Лександра Васильевна приехали!»

Приезд жены не был неожиданностью – и письмо прислала, и телеграмму, а Глеб Ив., словно бы пораженный известием, сбился с шагу, юношески зарделся и бросился в сторону больничной конторы. Я увидел, как Егоров догнал Глеба Ив., как Глеб Ив. доверчивым, детским движением взял Егорова за руку, и вот так, держась за руки, они мелькали среди вишневых деревьев, окружавших контору.

Я уступил Успенскому свою квартиру. Александра Васильевна прожила у нас три дня. Все это время я был в тревоге. Для меня не были секретом горестные переживания Глеба Ив. Он полагал, что обрек свою семью на прозябание. Его угнетало не только настоящее, но и прошлое – вечная поглощенность спешной работой и никакой заботы о домашнем очаге, о детях. Все тяготы несла Александра Васильевна. А теперь вот донашивала старые фufайки, ходила в стоптанных туфлях, утверждая, что других ей не надо, эти в самый раз, по ноге. Глеб Ив. мучился, никакой, говорил, я не муж, не отец, а нахлебник, да к тому же нахально требующий,

чтобы его навещали, о нем тревожились, ему писали. Случалось, что мученья достигали степени отчаяния, он ожесточенно бил себя по голове каким-нибудь тяжелым предметом, благо Егоров всякий раз, будто чутьем угадывая, поспевал вмешаться. Понятно, что я тревожился. Не о том лишь, как пройдет свидание, но и о том, как сойдет разлука. Правда, еще с первых оттепелей он настойчиво добивался «отпуска», хотел совершить пешее хождение по здешним весям, это, говорил, необходимо ему, надо обновиться существом, получить свежие впечатления, и тогда он возьмется, непременно возьмется за перо, напишет, как он говорил, о «великих людях земли русской», нынешних шлиссельбургских мучениках – о Вере Фигнер, о Германе Лопатине, который, заморозив его однажды, приворожил пожизненно...

Я этот «вояж» обещал, сказать честно, не очень-то твердо и определенно: смотря, мол, «по состоянию». Но с течением времени все больше склонялся к тому, чтобы исполнить свое обещание. Стало быть, и теперешняя разлука с женой могла сойти благополучно, потому что Александра Васильевна часто жила в здешних местах, точнее, в Сябринцах, близ Чудова, а значит, во дни пешего хождения Глеб Ив. не минует Сябринцы.

Кратким прологом «вояжа» была поездка в Новгород, на станцию железной дороги. Глеб Ив. провожал Александру Васильевну; я сопровождал Глеба Ив.

Колмовское свидание протекло спокойно, даже и радуж-

но. На блеклом, нервном, усталом лице Александры Васильевны возникала робкая улыбка. Она, видимо, страшилась внезапной перемены к худшему, так уже случалось. Глеб же Иванович, ласково забирая ее ладонь в свои ладони, улыбаясь, развивал идею «убийства времени», остающегося до встречи в Сябринцах. Идея была в том, чтобы «разыграть письменные этюды воспоминаний», он возьмет сюжетом прекрасную мадемуазель Бараеву, а она, Александра Васильевна, — что пожелает, по своему усмотрению.

Благое намерение, эти вот «этюды», осталось благим намерением, но и Глебу Ив., и Александре Васильевне было так хорошо в тот пасмурный, тихонький, теплый день в извозничьей пролетке, неспешно катившейся в Новгород, на станцию железной дороги.

На вечерах в этом доме ювелирных фейерверков не бывало, и вдруг... «В этом доме»? Надо, пожалуй, напомнить: на Малой Итальянской, в адвокатской квартире, там, где Глеб Иванович говорил о покойном Решетникове...

Так вот, собралась, как обычно, публика интеллигентная, молодая и возраста среднего, разговор на сей раз шел не о литературе, а о политике внутренней, неизменно поставлявшей пищу для суждений, подчас рискованных.

Опоздавший завсегда, описывать которого нужды нет, явился с незнакомкой блистательной: серьги бриллиантовые, брошь бриллиантовая, кольцо с бриллиантом. Уже не рас-

цветающая, но еще цветущая дама была в черном кружевном парижском платье с высоким воротом а ля Медичи. Лицо тонкое, четкое, твердое. Глаза? Бесспорно, выразительные, но коль скоро смысл выразительности оставался спорным, все решили, что глаза у нее загадочные.

Несмотря на усердные разыскания, мне не удалось установить ее имя, буду называть, как называл Глеб Иванович, – Шантрет. Французское словцо ничего иного не значит, как только «шатенка». Глеб же Иванович произносил протяжно, с нарочитым прононсом, возникал легкий, звуковой, что ли, шарж.. Иронией, шаржем маскировал он и замешательство, и досаду, и вообще черт знает что, возникавшее в душе то поочередно, то вперемешку, как от мутовки.

Шантрет появилась в ту минуту, когда политическая тема сменялась литературной: у Глеба Ивановича просили «чего-нибудь новенького»... Он знал насквозь этих серьезных слушателей. Все они наперед имели обо всем мнение само-сто-ятельное. И потому на литературных вечерах, не робея, допрашивали писателя, почему он пишет так, а не эдак. Одни обвиняемые притворно и лениво капитулировали – да, не так пишу, не так, уж не обессудьте. Другие, еще не обстрелянные, сердито недоумевали, отчего читающая публика взяла за правило глядеть на писателя сверху вниз. За Глебом Успенским читающая публика признавала талант, и даже талант замечательный, однако сетовала на то, что Глеб Успенский не пишет «настоящих романов», а печата-



ет «отрывки», «наблюдения», «страницы из записной книжки». Полагая свои мнения самостоятельными, они пели с чужого голоса — повторяли так и сяк журнальную критику. А журнальная критика то упрекала г-на Успенского в сжатости, которая, утрачивая достоинства краткости, приобретает недостатки схематизма, то чуть ли не осуждала на смертную казнь за бегство из садов художественной прозы в каменоломни прозы публицистической. Критика, отнюдь не всегда благожелательной тональности, не то чтобы вовсе не задевала, не огорчала, не коробила Успенского, однако и не опрокидывала навзничь. «Какая же у меня словесность, — разводил он руками, — не словесность у меня, а черная, ломовая работа...»

Ну-с, просили «чего-нибудь новенького». Отказывать он стеснялся, не умел: конфузили даже малейшие подозрения в капризности и жеманности артистической натуры. Он прочел «отрывок» «наблюдение», видел, что задел за живое, но готов был и к самостоятельным мнениям. Никто, однако, и губой не успел шевельнуть, как новаявленная Шантрет без всяких вводных предложений, вроде «на мой взгляд» или «мне кажется», произнесла безапелляционно: скучно, плоско, глупо. И повергла собравшихся в единодушное замешательство. Или, как, наверное, выразился бы д-р Усольцев, в коллективное помешательство, характерное для иных периодов истории человечества. Все ошеломленно молчали. Нигилизм нигилизмом, но не эпатаж ради эпатажа. И все ре-

шили, что у загадочной Шантрет самобытный и, может быть, поистине глубоко национальный взгляд на искусство. Ничего иного не пришло в голову само-сто-ятельной публике.

А виновник торжества? Возражать было бы еще скучнее, еще площе и глупее, чем он пишет. Он чувствовал себя нелепо, неуклюже, скверно. Так скверно, что из головы сразу, как под обухом, вылетел срок возвращения домой. Задерживаться, опаздывать в такой день было непростительно, как измена. Вымученно усмехнувшись, он сказал:

– Мне сделали аванию. – И, поклонившись, вышел.

Нарочитой заменой расхожего «мне нанесли обиду» на редкостную «аванию» Глеб Иванович не избавил себя от скверного, нелепого, неуклюжего положения в пространстве и вместо того, чтобы поторопиться домой, вялым шажком поплелся к Фонтанке.

Опершись на парапет, он долго и тупо смотрел на черную речку, меченную, как желтком, отблеском фонаря, и потряхивал головой, как ныряльщик, в ушах которого застряла вода.

Дома он застал акушерку. Поджав губы, повитуха смирила взглядом обжигающей презрительности гуляку праздного. Он похолодел, у него дрогнуло под коленками, он страшно перепугался, как бы и второго, долгожданного и желанного младенца не постигла участь первенца.

Первенец родился мертвеньким. Александра Васильевна обреченно шептала: «Пусто... Пусто...» Глеб Иванович, не

зная, что делать, чем ее утешить, глотая слезы, хотел было затеплить лампадку. Давно порожнюю плочку затащило паутиной. Александра Васильевна повела глазами на красный угол, опять молвила: «Пусто...» – но в этом повторе был уже не прежний смысл, и Глеба Ивановича прохватило лютым одиночеством Сашеньки – нет ей прибежища, нет утешения. В отрочестве, гимназистом, он читал о мучениках веры; сейчас, сквозь слезы, холодившие скулы, видел мученицу безверия.

Еще до замужества Сашенька Бараева сказала жениху, что она «утратила способность веровать». Успенский не поперхнулся. И он, и она принадлежали к тому кругу, который не только не общался с господом богом, но и не раскланивался с господом богом. Одни отрекались медленно, посреди тягостных сомнений, другие рационалистически-спокойно. Сашенька Бараева, вчерашняя институтка, только что получившая аттестат, «утратила способность», потрясенная кончиной родного брата, совсем еще молодого человека, цветущего, полного сил. Сашенька отождествляла Всевышнего с Высшей Справедливостью, и потому ужасная несправедливость братниной смерти отрицала, как ей казалось, бытие божие.

Батюшка, знавший и любивший Сашеньку с самого раннего детства, печально цитировал священное писание: глупость человека извращает пути его, а сердце его негодует на господа. Да, ее отречение было негодованием. Потом негодо-

вания не было, ибо не стало предмета негодования. Но душа, освобожденная от веры, сиротеет, говорил батюшка. Она тоже могла бы сослаться на писание: нехорошо душе без знания. Добрый старик принялся бы объяснять, в чем тут суть. Это было бы впустую: Сашенька Бараева уже встретила на путях знания такие сочинения, как Бюхнерову «Силу и материю». Законы физики, химии, физиологии отменяли закон божий. Не душа сиротела без знания, а мыслящая материя.

Однако тайна из тайн: несуществующая душа жаждала любви, и, когда Сашенька Бараева думала о Глебе Успенском, мыслящая материя оставалась не у дел.

Их свадьба ужаснула бы ревнителей обрядности. Ни должного застолья, ни должного комплекта застольщиков. А время-то избрали, шут их возьми, неурочное, утреннее, в одиннадцатом часу. Малой компанией сидели у Палкина, ничуть не обращая внимания на сварливое шарканье еще не промявшихся, заспанных половых. Неудовольствие прислуги объяснялось не только ранью, но и отсутствием заказа на море разливанное. От таких гостей нечего было ждать. А Глеб Иванович и не желал моря разливанного. Не скаредничал, какое там... Повторял, сияя, что вот-де, друзья-товарищи, молодой супруг совершенно добровольно избирает позицию подкаблучника.

Затем вся компания покатила на Острова. День стоял высокий, весенний. Как часто бывает в Петербурге, тепло прожигалось длинным холодным ветром, и это было приятно,

как и стук копыт по мостовой, сухой и звонкой.

На Островах полунагие рощи окунались в голубое, прозрачное. Взморье лежало как выглаженное. На тонком, в ни-точку, горизонте всплескивал бледный дым парохода. Хорошо жить на белом свете!

Шампанское, выпитое у Фелисьена, гармонически сочеталось с рюмками водки, пропущенными в русском трактире. Там держали калужских кенарей. Глеб Иванович, улыбаясь, сказал, что канареечное дело птицеловы называют «благосклонным». Кенари по случаю супружества г-на и г-жи Успенских ликовали – и дудкой, и вроссыпь, и колокольчиком. Ах вы, пташки-канашки мои... Дома, в Туле, у деда была говорящая сорока Чипа, щегол щебетал, была и канарейка, выписанная из Полотняного Завода. Приживальщик Михалыч заструнит, бывало, на скрипочке: «Ах вы, пташки-канашки мои...» – канареечка тотчас начнет перебирать лапками на жердочке, а головкой верть-верть, ребятишки смеялись и в ладошки хлопали... Ему вдруг взгрустнулось. Нет, не по тульскому детству, а так, черт знает почему, вроде бы от крутой перемены всех жизненных обстоятельств. Вот тебе и сюрприз! И своя-то душа потемки. Ждал, желал, Бяшечкой звал, ласточкой. Совершилось, а тут и на тебе – грустно... И как раз в эту минуту Сашенька перехватила его грустно-туманный взор. Он покраснел. Она посмотрела на мужа, в ее черных, смородинками, глазах светилось и счастье, и еще что-то такое, ему непонятное, да, кажется, и самой Сашень-

ке неотчетливое.

Кенари умолкли. Кто-то предположил, что певцы требуют гонорара. Глеб Иванович освобожденно засмеялся, он сказал, что канарейкам надо платить канарейками, желтыми рублевыми бумажками, но в соответствии с торжеством, какое имеет быть, молодые жалуют на круг синенькую и зелененькую, и пусть уж хозяин делит эти восемь рублей, как вздумается...

Поженившись в мае, они чуть не год маялись. В мае добрые люди не женятся? Права пословица в тех случаях, когда в сундуках добра нет. У четы Успенских сундуки отсутствовали за ненадобностью. Была надобность в булке, в стеариновой свечке, в заварке чая. Он писал «Разоренье»: Михаил Иванович, человек рабочий, фабричный, ощущал потребность бунта отнюдь не бессмысленного. «Имею просияния моего ума, – говорил Михаил Иванович, – я всю эту разбойную механику понимаю...» «Разоренье» печатали «Отечественные записки». Платили исправно, до копейки – оставались копейки: молодоженов преследовали кредиторы. Александра Васильевна зарабатывала переводами с французского, с немецкого. Со стороны легко было счесть, что у молодоженов нет перевода деньгам. А Глеб Иванович задавался вопросом почти риторическим: «Александра Васильевна, не найдется ли чего-нибудь закусить?»

Наконец они сносно зажили на Гончарной. Ждали ребенка: первенец – царь в доме. Воцарения не дождались, перве-

нец родился мертвеньким. «Пусто... Пусто...» – обреченно шептала роженица, Глеба Ивановича мучила какая-то тяжелая возня за стеной. Ему казалось, что он в каземате, а в соседнем каземате душат кого-то, душегубство творится в соседней темнице. Настенные часы, истратив силу пружины, не действовали. Глеб же Иванович думал, что смерть малютки остановила течение времени.

С постылой Гончарной они переехали на Фонтанку.

И вот теперь, сейчас, здесь, во флигеле, Александра Васильевна разрешилась благополучно. Усталая повитуха смотрела на «гуляку праздного» благосклонно. Он ходил фертом и насвистывал.

На другой день Глеб Иванович, торжествуя, извещал знакомых, полужнакомых, даже и знакомых шапочно:

– Александра Васильевна сына родила! Нос, знаете ли, не как у новорожденных, совсем, знаете ли, настоящий нос!

А что же Шантрет? О нет, она не забыла писателя, «пишущего плоско, скучно, глупо». Приговор должен был ошеломить писателя. Судя по всему, Шантрет преуспела. И она повалилась в дом на Малой Итальянской. Шантретин предмет, благожелательный ко всем и каждому, холодно сторонился обидчицы. Она была настолько умна, чтобы не переоценивать силу своего удара. И не настолько дура, чтобы рассчитывать на скорую победу. Она навела справки. Утверждали, что писатель Глеб Успенский счастлив в супружестве. Она не

поверила. По ее мнению, он мог быть счастлив только с нею.

Приступая к осаде, Шантрет сменила доспехи: парижские туалеты на скромные платья, бриллианты – на железную цепочку. Объявляла сумрачно: «Эту цепь раскует только смерть!» Но смерть почему-то медлила, и осада продолжалась. Успенский получал записочки, лапидарные, как изречения риториков времен давно минувших, с эмблемами непреходящими. «Ты спишь, Брут, а Рим – в цепях», а вокруг, как виньетка, топор и кнут, кандалы и эшафот... Идейный писатель, казалось бы, должен был пасть ниц пред нигилисткой, готовой погибнуть за высокие идеалы. Идейный писатель не только не падал, но и устранялся от свиданий наедине. Шантрет дала ему понять, что он черствый, как сухарь.

– Вы совершенно правы, – обрадовался писатель, – я сухарь, сухарь заплесневелый и бесчувственный.

– Вы воплощение жестокости, – сказала Шантрет, ее красивое, четкое, твердое лицо злобно побелело.

Она перестала появляться на вечерах в адвокатской квартире. Но... Лотошница, ряженная старухой, выныривала из подворотни. Угадав Шантрет, страстный курильщик пускался наутек. Но... Обернувшись подростком-рассыльным, она гналась за ним с каким-то свертком, будто бы забытым в Пассаже. Он ретировался в первый попавшийся проходной двор. Но... Поблизости от его дома, на Фонтанке, скучал извозчик; Шантрет, сидя в пролетке, поглядывала из-под зонта, как филер.



Давно бы следовало дать отпор несносной «ритурунели», а Глеб Иванович не решался, терпел, надеялся на авось. Всего же муторнее было то, что он сразу не сказал Александре Васильевне об этой липучке. Не приведи господь, узнает стороной – бабьи сплетни страшнее пистолета. А узнает, спаси и помилуй, вспышка ревности. Чувство столь же гнусное, как и чувство собственности: ты мой – не отдам. Дьявольски неприятны подозрения в супружеской неблагонадежности. Не велика, конечно, радость и в подозрениях на счет политической благонадежности, но к тому имеются резоны, а вот каяться пред Александрой Васильевной, видит бог, не в чем. Однако давно надо было, что называется, доложить по начальству.

А Шантрет... Если цензор не верил в его преданность престолу, то она – в его преданность жене. Цензор не ошибался и пребывал начеку. Шантрет ошибалась и дошла до белого каления.

В один день филерши на извозчике не обнаружилось. Глеб Иванович вольно вздохнул. Едва он удалился в сторону Аничкова моста, как во двор его дома шмыгнула, подобрав юбку, торговка апельсинами. Проворно поднявшись на второй этаж, она брякнула дверным колокольчиком. Дверь отворила Александра Васильевна.

– Сочные, сладкие, полновесный, – гостинодворским зазывом отрекомендовала Шантрет марсельский экспорт.

Александра Васильевна приятен был аромат апельсинов.

Она нимало не подозревала присутствия смертельной дозы сернистого мышьяка.

— Чистое объядение, барыня, — охрипшим голосом посулила Шантрет и мгновенно побледнела.

— Что с вами? — всполошилась Александра Васильевна.

— Мне... мне... поговорить, — пролепетала Шантрет.

В комнате спал младенец. Над колыбелью почудился Шантрет нежный призрачный дымок ребяческого сна. Она вскрикнула и, судорожно вцепившись в корзину, бросилась вон.

Никогда больше Глеб Иванович не видел, Шантрет.

Он дал себе зарок впредь не мешкать с «донесениями по начальству». А поводы к тому подвертывались. Александра Васильевна, слава богу, не выказывала чувства собственности. Барышни увлекаются ее мужем? Господи, только Баба-Яга не испытает магнетизм его обаяния. Но Глебушка, пожалуй, чересчур мнителен, у мнительности глаза велики, а мнительность Глебушкина — производная величина душевной чистоплотности.

Он принимал как должное ее уверенность в его брезгливой чуждости пикантным историям. Но ему как бы и не хотелось верить в ее полную свободу от ревности. Он предполагал тайные страдания и сожалел об этом.

Она и вправду страдала. Однако он не догадывался, где зарыта собака.

На Островах, в день свадьбы, когда они встретились гла-

зами и Глеб Иванович поймал в себе внезапный испуг от совершившегося, она и себя поймала на чем-то неожиданном, а теперь, матерью семейства, поняла, что это было предчувствием распри. Но тогда, на Островах, не поняла, потому что была счастлива неведением.

Чего же она не знала, о чем ведать не ведала?

О том ли, что счастье с несчастьем, как ведро с ненастьем? Полноте. Переменчивость судьбы не секрет даже и для институток. Может, о том, что жизнь внезапно рвет жилы и ставит точку? Ну нет, страшным примером была скоропостижная кончина брата. Или о том, что жизнь, вытягивая жилы, то и дело ставит знаки препинания – препоны, неудачи, помехи? Господи, кто же этого не понимает!

Так в чем же таилось ее краткое – там, на Островах, – предчувствие долгой тяжбы?

Нет, не с безденежьем, не с невзгодами. И не со сверлящим, как древоточец: я, дескать, денно-нощно, словно пчелка, а ты исчезаешь надолго, пахнет от тебя не только табаком, пиджак швыряешь куда попало, да и забываешь, стыдно сказать, чистить зубы.

Не ежели не в том была тяжба, то, может, в борьбе за власть или в борьбе за свободу? Нет, она не посягала на домашнее самодержавие. (Глеб Иванович с порога вручил ей державу – правь, матушка, как славная комендантша Белогорской крепости.) И не обороняла принципов женской эмансипации. Оборонять нужды не было: Глеб Иванович не

атаковал эти принципы. Напротив, совсем напротив. Его не умиляла Татьяна Ларина: от ее верности пахло гаремом – «я другому отдана». То-то и оно, *отдана*.

Рассуждая «вообще», хотя и не отвлеченно, оба думали, как Пушкин, не зная, впрочем, что Пушкин так думал. «Несчастье жизни семейной есть отличительная черта во нравах русского народа». Мысль эта, искренне считал Глеб Иванович, будучи верной, не адресовалась, однако, лично ему. Что ж до Александры Васильевны, то она, материнством счастливая, чувствовала и сознавала «несчастливость по-своему».

И Глеб Иванович, и знакомые литераторы, и издатели отдавали должное ее несомненному дарованию. Залогом тому были переводы, поощренные Тургеневым. Но залог это ведь даже и не пролог. Она не работала, а прирабатывала. Работа требовала независимости от домашности. А последняя не исчерпывалась домоводством. Детей надо не только кормить, мыть, обувать, одевать, лечить, но и воспитывать. Дети, дети... Она ни на день не спускала с них глаз. А втайне предавалась литературным мечтаниям, задумывала повести, отваживалась и на романы. Увы, увy, семья хоть и не вериги, а не сбросишь, как вериги. К тому же она бы и сгоряча не стала бы никого уверять в своей практичности. Выгадывать, торговаться, что называется, протягивать ножки по одежке, не то чтобы казалось ей унижительным, а было как-то неловко, утомительно, конфузливо. Но с Глеба-то Ивано-

вича в этом смысле какой спрос? Стало быть, кому-то же надо, а кому, кроме нее?

Огорчения Александры Васильевны Глеб Иванович и замечал, и понимал. И посему измыслил однажды замечательную «коммерцию».

Мясной товар поставлял Александре Васильевне разбитной ярославец с Сенного рынка. Глеб Иванович подкараулил его на черной лестнице и попросил об одолжении, как говорится, не в службу, а в дружбу. Ярославец отвечал – завсегда, мол, готов. Пожалуйста, продолжал Глеб Иванович, не торгуйтесь с Александрой Васильевной, какую цену назначит, на такую и соглашайтесь. «Завсегда готовый» мясник попятился. Помилуйте, говорит, сами знаете, скотина привозная, того и гляди по миру пойдешь, никак-с невозможно-с... Нет, нет, оборвал Глеб Иванович, вы меня не поняли; вы настоящую-то цену записывайте, мы с вами под конец месяца и сочтемся, я вам еще и приплачу по пятаку с фунта. Ярославец просиял, экий господин-то славный... Так и пошло, ладно да складно, к полному общему удовольствию. Неизвестно, сколь бы долго продолжалось, не поделись Александра Васильевна своей удачливостью со знакомыми дамами. Само собой, клиентура у ярославца резко увеличилась. Да сразу и осеклась. Как так, всполошились покупательницы, что же ты, мошенник, с нас дерешь, а вот с госпожой Успенской по-божески, ах ты негодник, ах ты бесстыдник... Ярославец оскорбился: зачем-де мораль напущать? Был бы ваш

супруг-то таким же славным господином, как Глеб Иванович... И «ларчик» открылся. Александра Васильевна не знала, сердиться ли, смеяться ли, Глеб Иванович приуныл, как банкрот, хмыкал, разводил руками и повторял, что «скотина привозная, никак-с невозможно-с...»

Дом, дети, бесконечные хлопоты, нескончаемые заботы, такие вот ярославцы, они-то, грустно думалось Александре Васильевне, и убивают ее бессмертную душу. Она понимала – литература и домашнее – были бы неподым и Глебу Ивановичу. Понимая, принимала ли? Сколь много он мог бы дать Саше, Вере, Маше, Оле... Не в ходу у них ни «папа», ни «папенька» – зовут Глебом, даже и Глебушкой, точно старшего брата. Любимого и любящего, да-да, так, но у брата ведь нет отцовских обязанностей. Александра Васильевна удивлялась чуткой безошибочности детских сердечек: Глеб, Глебушка. Но ее сердце нет-нет да и сжимала обида. Ничтожный повод искоркой падал на трут, вспыхивала ссора.

– Нельзя же мне, Глеб Иванович, все одной да одной.

– Уж не желаете ли, Александра Васильевна, чтобы я с вами непременно под ручку расхаживал?

– Вовсе я этого не желаю, но, согласитесь, не я одна семью заводила.

И Глеба Ивановича такая печаль, такая беспомощность замолаживали, что Александре Васильевне ничего другого не оставалось, как только слезинку смахнуть и пойти удостовериться, не гневается ли самовар – Глебу Ивановичу без

чаю, как без папирос.

Она понимала, что на страже всей его сущности стоит эгоизм. Не смешной, не отвратительный, а тот безотчетный, можно сказать, естественный и даже великий эгоизм, без которого нет и невеликого писателя. Опять-таки спрашивается: понимая, принимала ли?

Ее бедное «я», заточенное в семейном «мы», то долу клонилось, то плечи прямоило, оставаясь неспособным ни на самоутверждение, ни на самоотречение.

Судя по воспоминаниям доктора Усольцева, Глеб Иванович, проводив жену до станции железной дороги, вернулся в Колмово хотя и молчаливо-рассеянным, но спокойным.

Окно в его палате ослепло еще до полуночи, и это был добрый знак. Усольцев светло подумал о своей душевной неотделимости от Глеба Ивановича и о том, что этот субъективизм дороже служебно-врачебной объективности. И еще успел подумать, засыпая, как хорошо, старомодно и хорошо, когда муж и жена на «вы» и по имени-отчеству: «Вы, Александра Васильевна...», «Вы, Глеб Иванович...»

Утром был обход палат почти ритуальный. Усольцев привычно не замечал запаха карболки и мочи. И привычно замечал, как больные, собираясь на работы, опасаются его докучливой заботливости: вдруг не пустит. Опасения эти были приятны «коллективисту» Усольцеву.

Визит к Успенскому оставлял Николай Николаевич напо-

следок, так было у них заведено: вслед за визитацией – прогулка. Нынче

Усольцев прицеливался к «французскому сюжету», возникшему как бы в подверстку к беседе в дубовой роще о Буланже и прочем.

Усольцеву пришел на ум губернатор Лагард. Их свидание состоялось в Обоке, в африканском захолустье. Лагард, представитель Франции, восхвалял палачей-версальцев и почем зря костил парижских коммунаров. Вот этот-то «сюжет» и предполагал Николай Николаевич тронуть, прогуливаясь нынче с Глебом Ивановичем. Ведь Успенский был во Франции вскоре после разгрома Коммуны.

Минуту спустя доктор понял, что прогулка не состоится. Он понял это по едва уловимому движению подбородком, сделанному служителем Егоровым. И само движение, и скрытый в нем смысл были, к сожалению, знакомы д-ру Усольцеву. «Не умеете вы, каналы, вылечить Глеба Ивановича», – без слов обвинял Егоров. Вслух же сказал: «Всю ночь не спали, мучились».

В сон наклонило еще до полуночи. И не тяжело, муторно, мутно, как после сульфонала, а с тем здоровым удовольствием от усталости, которая была следствием поездки в Новгород, суеты на дебаркадере, свистков локомотива, словом, впечатлений, как-то увязанных с теми давними днями, когда они поженились, жили с хлеба на воду, но счастливо.



Он погасил лампу и, наверное, скоро и покойно уснул бы, если бы выкурил последнюю папиросу. Но не выкурил. И не потому, что рачительный Егоров ругался, замечая прожженную наволочку или простыню, а точно бы ради Александры Васильевны – манеру курить в постели она считала «негигиенической». Хорошо-с, извольте, курить не будем, а вместо того посидим минуту-другую у окна, ночь светла, и мы, Александра Васильевна, проникнемся очарованием пейзажа: вы ведь нередко упрекали нас в равнодушии к «ландшафту».

Сидел, закинув ногу на ногу, облокотившись о подоконник, и «проникался». За рекой, почти неразличимой, лишь угадываемой, в рассеянном лунном свете тихо, будто замерев в парении, мерцали монастырские кресты, а тут, под окном, и чуть дальше был малинник, такой плотной черноты, словно не кустарник, а куча антрацита. Глеб Иванович, вероятно, еще и еще удержался бы на позиции «проникновения», если бы четкий, как из коленкора, очерк заречной обители не воскресил перед ним женщину строго монашеского облика. В последний раз ему привиделась инокиня Маргарита в Нижнем, когда гостил у Короленки. Волнуясь, с глазами, полными слез, Успенский горевал о ее вечном заточении в Шлиссельбурге, а Владимир Галактионович ласково утешал его проникновенным, задушевым голосом с мягкими, южными интонациями, похожими и на украинские, и на польские.

Сейчас, однако, мысли Глеба Ивановича не сосредоточились на инокине Маргарите, оттого, должно быть, что в мыслях он еще был с Александрой Васильевной, обнимая каким-то общим, без подробностей, без частных, объятием всю совместную жизнь, именно совместную, когда нет ни твоего «я», ни другого «я», а есть «мы», а в голосе Короленки невнятное сменялось внятным, и Глеб Иванович уже понимал, что Короленко вслух читает что-то из Успенского.

Так бывало не однажды. Успенский сознавал, что голос беззвучный, как этот лунный свет, звучит лишь в голове его, в ушах его, но всякий раз дивился своей памятью, Владимир Галактионович читал-то его, Успенского, сочинения, а он, Успенский, намолол, прости господи, столько, что и оси у мельницы подмололись.

«Я присутствовал совершенно как посторонний, чужой человек, – читал вслух Короленко, – чужой человек, наблюдающий со стороны разговор, который молча происходил во мне же самом».

Да-да, так было, было задолго до Колмова. И пусть господа психиатры определяют, что сие значит. О, они сказали бы: протрация, угнетенное состояние духа. А вот и нет, не то и не так, какая там, к черту, протрация. Такая же протрация, как и этот малинник под окнами. Совсем другое, совсем другое! Находят, знаете ли, минуты особенной, напряженной зоркости, и ты переощущаешь себя – понимаешь? переощущаешь! – во всевозможных направлениях, да-

же в какую-нибудь букашку или цветок под окном почтовой станции, на краю малинника. Да, в ничтожнейший цветок, и вот так же затекал локоть на подоконнике... «Я продолжал безмолвствовать, – читал Короленко, и так отрадно было бы слышать этот проникновенный, сердечный, с мягкими интонациями голос, если бы... если бы Короленко почему-то не выбрал рассказ Цветка. – Не могу выразить, до чего это трудно. Едва только из «нее» и «меня» вышло одно *мы* и едва мы на некоторое мгновение ощутили действительную цельность и полноту жизни, – смотрю: что-то мне становится страшно, холодно и одиноко. Она со мною неразрывно, но я одинок...»

Теплое мерцание монастырских крестов сменилось льдистым отсветом. Голос Короленки, утратив мягкость, мучил Глеба Ивановича. Не мог он понять, почему, зачем Короленко читает *это* – никогда не писал аллегорий, да вдруг и написал. И напечатал в «Северном вестнике» исповедь невзрачного Цветка на краю малинника, исповедь, которой внимал усталый путник. Отчего так жесток Короленко, человек необычайно человеческий? И как раз сейчас, когда он, Успенский, мыслью своей обтекал всю совместную жизнь с Александрой Васильевной, и веяло счастьем, пусть невозвратным, но ведь, если счастье было, оно, затаившись, ждет хотя бы краткого пробуждения. Глеб Иванович не хотел слушать, не мог слушать, но как же заставишь Короленку замолчать, если это не зависит от Короленки, а зависит от тебя

самого, потому что беззвучный голос Владимира Галактионовича звучит в твоей голове, в твоих ушах. И Успенский, не переменяя положения тела, не чувствуя затекшего локтя, слышал и слушал о несчастьях раздвоенного «мы», об отчаянии подчас злобном. «Правда, и теперь, – продолжал Короленко, – правда, и теперь иногда мы опять *мы*, в самом деле. Но увы! Это уже в минуты горького сознания, что оба мы несчастны и что все наши страдания для будущих якобы поколений ровно ничего не означают, что наши дети будут страдать так же, как и мы... Здесь я очнулся: в совершенно темную комнату вошла кухарка со свечой. Яркий свет ослепил меня...»

Яркий свет ослепил его – в совершенно темную комнату вошел Егоров со свечой. Вошел сердитый, внезапно разбуженный беспричинной тревогой, и едва не обронил свечу: Глеб Иванович вскочил со стула, лицо белое, ни кровинки, точь-в-точь, как неделю-другую тому, когда садовник обкашивал клумбы и острые, блескучие «жик-вжик» влетали в палату, а Глеб Иванович, схватившись за голову, крикнул Егорову: «Скажи, чтоб перестали! Ведь больно же, траве больно!» Странное дело, Егоров тогда не то чтобы понял или не понял, а внезапно ощутил душу живую везде и всюду, в этой траве тоже... Но теперь-то, но сейчас – кому больно?

Где было догадаться – не свеча ослепила Глеба Ивановича, а боль Александры Васильевны, прочитавшей некогда признания жалкого, прибитого градом, сломленного Цветка.

Глеб Иванович замотал головой, с силой захлопнул окно и обмяк, поник.

Он покорно выпил лекарство, послушно разделся, послушно лег под одеяло и, выпростав руки, сложил их на груди. Егоров сел у него в ногах, дожидаясь действия снадобья.

Сидел молча, искоса поглядывая на солнечный лучик, скользнувший в палату. Лучик, думал Егоров, дотянется до изголовья да и обеспокоит Глеба Ивановича, губ коснется, щек коснется, обеспокоит. Егоров хотел было задернуть занавес, но не стал, смутно ощущая единство этого лучика с травой, которой больно. Глеб Иванович засыпал, и Егоров, перекрестив его, как нянька дитяню, на цыпочках вышел из палаты, а Глеб Иванович остался в узкой луговине, быстро и густо зараставшей сон-травой.

Смеженные веки тяжелели, будто под гнетом старинных медных пятаков. Но страшно не было, как бывало, когда этот гнет на веках воображал он первыми мгновениями небытия. Страшно не было потому, что в сумраке сон-травы, в ее зыбкости он чувствовал губами и щекой золотистую, трепетную полоску, и это было здешним, колмовским свиданием с Александрой Васильевной.

Понятно, ни о каком «французском сюжете» в то утро не могло быть и речи, потому что и прогулки-то не было. Да и вообще в усольцевской тетради нет об этом ничего. О причине судить не берусь. Может, просто-напросто не предста-

вился случай.

А в Париж Глеб Иванович ездил.

Он устал, подвизаясь в журнале Некрасова, хотел развеяться, перевести дух. Где же развеешься, как не в Париже? Требовался, однако, прожиточный минимум. Некрасов торопатою не отличался. Но у него был замечательный нос. У меня, говорил Николай Алексеевич, нос, как у выжлеца. А выжлец потому и вожак гончих, что добычу чует раньше всех. Вот он и чуял, каков Глеб Успенский, молодой, тридцати не стукнуло, беллетрист. Стало быть, у кого же и занять «минимум» в счет будущего гонорария, как не у Некрасова? Сочтемся! Серией «Парижских писем» сочтемся. И вот – еще до отъезда: «Милостивый государь Николай Алексеевич! Ради бога, простите меня...» И потом, уже после отъезда, из прекрасного далека: «Милостивый государь Николай Алексеевич! Не гневайтесь на меня...» Милостивый государь хмурился, но в милостях не отказывал.

Первым парижским впечатлением был запах. Не скажешь «приятный», скажешь «знакомый», придержав за зубами «родимый». Носильщик подхватил саквояж и тотчас шмякнул на перрон. Кучер, разворачивая фиакр, попер на панель, на прохожих. От носильщика, от кучера пахло отнюдь не ландышами. Можно было чертыхнуться, можно было подосадовать, но с берлинскими не сравнивать. Там носильщик брякал бляхой, как будочник медалью, а кучера брали под козырек, как фельдфебели. О, они делали свое дело недур-

но, но так, словно руки-то по швам.

Успенский ночевал в отеле, проснулся рано и рассмеялся радостно и испуганно, как бывает в детстве, накануне больших праздников, и ты, просыпаясь, боишься, что все-все уже было, прошло, ты опоздал, а вместе с тем знаешь, что еще ничего не было и проспять тебе не дали бы.

Завсегдатай российских странноприимных мест, если только позволительно зачислять в этот разряд губернские и уездные гостиницы, он остался доволен лоском недорогого номера и еще тем, что внизу был дворик, светло желтеющий, отгороженный от соседнего брандмауэрной стеной, но не угрюмой и словно бы сочащейся сыростью, как в Петербурге, а увитой плющом, и этот плющ, утверждая цепкость своей старости темными ветвями, свидетельствовал о своей молодости ветвями гибкими, почти изумрудными, пригретыми весенним солнцем.

Был май, было тепло, в Петербурге сказали бы: «Жарко». Успенский вышел без пальто, в костюме, признаться, потрепанном, там, в Петербурге, он этого бы совершенно не заметил, а здесь сразу же захотелось купить новый, но не потому, что все ходили с иголки, а потому, что он уже испытывал магию парижской элегантности. И, прах его возьми, купил на Итальянском бульваре, а заодно уж и пальто купил, выложив семьдесят франков и впервые чувствуя удовольствие от покупки вещей, в сущности, внимания не стоящих.

Он ежедневно много, долго ходил по городу. У него была

легкая походка, и на душе было легко, как в начале гимназических вакалов. Он ощущал явственно, что скулы и надбровья утратили хмурую тяжесть, точно выбрался из чащобы на опушку и вот прихлынул вольный свет открытого неба. Особенно нравились ему здешние сумерки, сизые, светло-фиолетовые, такие, которые на нашем Севере, где-нибудь за Онегой, называют сутеменью.

Вместе с тем он знал, не догадывался, а знал, что весь этот круговорот, блещущий огнями фонарей и фиакров, бойкость эта, театральные занавесы, размалеванные объявлениями о лучших в Европе клистирах и штиблетах, витрины с лучшей в Европе галантереей, бульвары с лучшими в Европе кокотками, все это тру-ля-ля скрывает постыдное, злодейское, совершившееся совсем недавно в этом городе, живущем как на юру. Не догадывался, а знал, но, боже мой, думать о злодейском, постыдном не хотелось, а хотелось дышать, глазеть, фланировать.

Однако настагает час – глаза имеющий да видит.

Он увидел площадку, ровнехонько вымощенную каменными плитами. На площадке резвились *petits parisiens*. Собачонка, похожая на Тюньку, гонялась за ребятишками, звонко твякая и мотая зеленым бантиком. Младая жизнь играла у гробового входа? Входа не было, но были на каменных плитах темно-ржавые пятна вьевшейся крови. Он сразу понял, что *это* такое, и сразу же словно бы отшатнулся, безотчетно желая удержаться в парижском тру-ля-ля. Он пошел прочь,



за шиворот попала льдышка и скользила, подирая холодом. Он оглянулся, будто взывая о помощи, на собачонку. И теперь ему уже казалось, что Тюнька – незадолго до отъезда подобрал в питерской подворотне жалобно скулящий комочек, выходил дворняжечку – Тюньку, сердобольно помаргивая, семенит впереди, увлекая его все дальше и дальше от этих темно-ржавых пятен на аккуратных каменных плитах.

Однако бьет час – имеющий уши да слышит.

На армейском плацу происходил, вероятно, развод караула, Успенский услышал рожок, хриплый и резкий. Потом он услышал: «Именем французского народа...» Ритуальной формулой начинались приговоры над бывшими коммунарами. Здесь, в Версале, заседал военный суд. Заседал уже несколько месяцев, собирая все меньше публики; она предпочитала рукоплескать в театриках – уж так высмеивают блузников, животики надорвешь.

Суд вершился в какой-то замызанной зале. На длинных скамьях сидели скучливо любопытствующие иностранцы, поодаль сидели изможденные, одетые нищенски жены и матери подсудимых. Эти женщины не ждали пощады для своих мужей и сыновей, и все же, робко поднимая заплаканные глаза на мундирных господ, безмолвно молили о снисхождении: ведь мой-то по чистой случайности, другие-то, может, и с умыслом, но мой-то, Спасителем клянусь, по чистой случайности.

Военные судьи, с жирными волосами и печатью безнадеж-

ной истасканности на лицах, давно уже не испытывали к подсудимым ничего, кроме презрения, и разделялись, как с гуртом на бойне, с этими сапожниками, столярами, грузчиками, портными. Резолюции – расстрел или каторга – читали они скороговоркой и только сакраментальное «Именем французского народа» произносили с механической четкостью, как до эпохи свободы – равенства – братства произносилось королевское или императорское титулование.

Конвой, клацая ружьями, принимал осужденных. Тяжело волоча ноги, они напрягали остаток сил в тщетной надежде промедлить самую малость, всего-то одну-две минуты, в течение которых все может круто, чудом перемениться – пуля, уже летящая в лоб, в грудь, в живот, пролетит мимо, а медленная смерть в аду Новой Каледонии или Кайенны отойдет в сторону, уступая место какой-нибудь из парижских тюрем, и ты увидишь, бог с ней, с решеткой, увидишь небо Парижа...

Чувствуя удушье и тошноту, втянув голову в плечи, Успенский, будто ошупью, будто сослепу, выбрался из казармы, пересек огромный двор с орудийной батареей, блещущей воинственно-весело, и, услышав напоследок вонь солдатского сортира, пошел все быстрее и быстрее, не разбирая дороги.

Нынешним утром, решившись посетить заседание военного суда, Глеб Иванович, наперед нервничая, не заметил в Версале ничего, так сказать, чарующе-версальского. Напро-

тив, все казалось унылым, как Елец. Почему-то на уме был Елец, а не Елабуга или что-нибудь другое в этом роде. А толпа, ожидающая пуска фонтанов, была глупее петергофской. Сейчас его и вовсе не занимали красоты Версаля, в куцах которого когда-то млели людовики и наполеонтии, обожравшиеся человечиной.

В Париже, в отеле, не спросив чаю или кофе, он лег и мгновенно уснул, разбитый и душевно, и телесно. Пробуждение тоже было мгновенным, он очнулся с ясным, как звяканье льдинок в жестяном ведре, осознанием вчерашнего дня.

Версаль, все, что было в Версале, представилось в некоей математической расчисленности. Деревья и кустарники, подстриженные квадратом, прямоугольником, конусом, были геометрическим торжеством над матерью-природой. Артиллерийская батарея на казарменном плацу – симметрией, глумящейся над каждым живущим. Круг за кругом, словно под циркулем, циркулировало версальское судопроизводство. Рационализм был холодным и голым, как покойницкая, душе места не было. Совесть? Справедливость? Он встал, зажег свечу, его сгорбленный силуэт приклеился к стене. Он листал лексикон Ренара. Совесть? Справедливость? Язычок огня, вытягиваясь, клонился к лексикону, свеча, сгорая, тоже искала, что же такое Совесть, что же такое Справедливость? Оказалось, что совесть тождественна сознанию. Оказалось, что справедливость тождественна правильности.

В перерывах версальские мундиры курили, заложив руки

за спину или в карманы красных штанов. Они делали свое дело правильно, стало быть, справедливо. Они делали свое дело в здравом уме, стало быть, по совести... Успенский перебрал в памяти знакомых судейских. Эти тоже упекали в каторгу, да вот не покуривали пахитосочку, не замечая плачущую бабу. Русская совесть несовместна с рассудочностью; нет, у нас лучше...

На дворе рассвело, послышался коротенький стук тележки, развозившей по домам молоко. Скоро, значит, начнется костоломный грохот омнибусов, экипажей, колясок, и опять, опять тру-ля-ля. Он швырнул саквояж на середину комнаты, огляделся, с чего начать укладку багажа. Взгляд его упал на эстампы с видами Парижа. На почте не нашлось давеча конвертов подходящего формата, а теперь вот, не дай бог, помнешь, приобрел-то не где-нибудь, а в Лувре... Недоуменно, самого себя осуждая, он развел руками: еще раз не побывать в Лувре, не увидеть Ее?

Он торопился, словно боясь разминуться с Нею. Постепенно, исподволь в его торопливости возникло что-то не сразу понятное, не сразу осознанное, а так, вроде бы мимовольное и сейчас, перед встречей, последней, может быть, в его жизни встречей, сейчас не нужное, не нужное, не нужное. Да-да, он и прежде замечал зловещие отметины на фасадах, арках, колоннах, там и сям замечал эти щербины, оспины в темных подпалинах, в трещинах, в пороховых кружочках

— следы картечи, следы ружейных залпов, следы прошлогодних баррикадных боев. Да-да, замечал, как же... но сейчас в минуту одну все эти отметины в траурных пороховых кружочках, эти незрячие глаза павших коммунаров и версальских солдат, выскочив, выколупнувшись из своих орбит, роились над ним, жужжали и взвизгивали...

Когда он пришел наконец в Лувр, то долго переводил дух, будто бежал верст десять, петляя и увертываясь.

В Лувре, огромном музее музеев, ему нужна была лишь анфилада античных мраморов. Да и не вся анфилада, отнюдь не вся. Но сперва надо было миновать многое. Он бывал здесь не однажды. Культурному человеку полагалось бы благоговеть, а ему страсть хотелось подмигнуть сторожам: бедняги деревенели посреди этого холодного мрамора. А нынче он даже и для виду нигде не задерживался: он шел к Венере Милосской.

Из-ва-яние? Это слово он осязал как снулую рыбину. Нет, нет, она не была изваянием и не принадлежала к сонмищу луврских венерок с их бедрами, бюстами, торсами.

В небольшом зале он, притаив дыхание, медленно и робко поднимал глаза, и всякий раз в первые мгновения он ни о чем не думал, а только чувствовал мурашки на спине, и это было почти испуганное оцепенение при виде истинной красоты, при виде красоты истины. Этот телесный озноб не угасал, а сообщался мыслям, и это были чувствующие мысли, чувствующие мысли о правде и справедливости, о том, что

правда не всегда справедливость и не всегда прекрасна, а истина не бывает, не может быть несправедливостью, не бывает, не может быть непрекрасной, и еще о том, что тьмы низких истин нет, есть низкие правды, а истина... истина... Она в непарадном зале с бархатным диванчиком, сидя на котором и глядя на Венеру Милосскую, плакал Гейне, Афанасий же Фет, человек культурный, ничего не понял и лучше выдумать не мог, как упиваться «сияньем наготы божественного тела...». Взглянул бы на завитки волос, слипшиеся на висках: Она только-только вернулась с поля и под притолокой в сенях положила серп, ибо Она – прародительница и вятской Авдотьи, и смоленской Акулины, и тех мужичек, которых он, Успенский, встречал и на Шексне, и в других деревнях. Их называли *большухами*, они были старшими в доме, в семье, в хозяйстве, они были самодержцами, то есть сами держали всё, поднимали, упрочивали, взбадривали, умножали, хранили, пускали в ход. Вятская Авдотья, овдовев, подати платила сполна. Односельчане недоумевали: «Стали, вишь, и баб засчитывать в души». А смоленскую Акулину односельчане стращали: не дадим тебе ни пахать, ни сеять, потому ваша бабья команда должна во дворе сидеть, как истари повелось. Но Акулина, плечом отринув мужа-пьяницу, пахала и сеяла. Овес и ячмень уродились хорошие. Бабы тут чуть не за ухваты: мы-де не плоше, мы-де без вас, бражники, сдюжим. Мужики собрали сход. Так и так, Акулина, из-за тебя в деревне смута. Большуха руки в бока – найду на

вас суд, найду и управу. Мужики поскребли темечко. Ну ты к лешему, будь по-твоему, а только сей момент ставь миру четверть. Акулина ни шагу назад: «Бесстыжие! И шкаликом не попотчую, хоть лопните!» Мужики не лопнули, но крякнули... Эх, Афанасий Фет, петь бы тебе венерок, а ты о большухе – сиянье наготы... Скромным мужеством веет от Венеры Милосской, мужеством и скорбью о негодяйстве нашем, но скорбь не глухая – будто сквозь ставень бьет солнечный лучик, и луч этот есть возможность совершенства нашего, частного совершенства и общего. Не то чтобы у ворот и не то чтобы близехонько, а лишь возможность, так ведь и это счастье, реальное счастье, как синица в ладонях... И уже не мурашки бежали по спине, и уже не чувствующие мысли в голове и в сердце, а так, как в полуночном детском сне, когда ты потянешься, сильно-сильно потянешься – и вырос, вырос, вырос...

В мои колмовские будни нежданно-негаданно вторглись Н.С.Тютчев и В.Ф.Кожевникова. Миновать, как полустанок, нельзя – токи времени пронизывают и заведения для душевнобольных.

Николай Сергеевич Тютчев некогда учился в Медико-хирургической. Он был старше меня. В молодости ходил в народ, конспирировал. Тюрьма и ссылка разжевали его жизнь. Теперь Н.С. «водворили» в Новгород под надзор полиции. Страдалец за народ свят, я смотрел на Тютчева снизу вверх.

Не думаю, чтобы это ему льстило, однако и не претило. Подозреваю, что сам на себя он смотрел как на предмет для подражания. О муках-страданиях не распространялся, выгодно отличаясь от тех, кто, просидев несколько месяцев в тюрьме, все оставшиеся годы только об этом и говорит. Вспоминая Сибирь, он своим толстым голосом спокойно сообщал, что и там сплотил из мужиков хор-р-рошую боевую дружину, готовую пустить в ход оружие.

Крепкий, седой, в неизменной блузе и поярковой шляпе, пристукивая палкой, он в Колмово наведывался не ради д-ра Усольцева, а ради Глеба Ивановича, и меня это, правду сказать, не радовало.

Доминирующей чертой его характера была суровость; угрюмая требовательная суровость. От него исходил колючий холод: «Виноват ты, сукин сын, перед русским народом, и нет тебе, шельма, амнистии». Вот это-то меня и не радовало, каменная десница Тютчева угрожала, на мой взгляд, душевному равновесию Глеба Ивановича.

Попробую объяснить с точки зрения Глеб-гвардейца.

Великаны – Достоевский, Толстой, – страдая, судили и осуждали. Наш Глебушка отродясь ходил в осужденных. Он пребывал в покаянии не перед народом вообще, нет, вот перед *этим*, то есть каждым.

Великаны, томимые дисгармонией жизни, обретали гармонию в своих творениях. Нашего Глебушку, чернорабочего, язвили ожоги третьей степени.



Великанов и двести лет спустя читать станут. Нашего Глебушку и теперь уже призабывают. Оттого он еще роднее. Он нам современник, мы вместе минемся, оттого и чувство особое, крестами поменялись.

Есть, наверное, высокое и горькое предвкушение в том, чтобы возложить на себя венец терновый. У него было другое, условно назову пермским. Помню, он рассказывал об этом, поджидая Тютчева.

За несколько лет до Колмова, странствуя по Руси, Глеб Ив. задержался мимоездом в Перми. Сибирскую железную дорогу еще не построили, Пермь была перевалом на этапном пути в Сибирь. Там скапливались те, кого Глеб Ив. называл «виноватой Россией» – труба нетолченная каторжан и ссыльнопоселенцев. Оттуда они и валили косяком за Урал.

Понятное дело, Глеб Ив. увидел арестантские партии. Видывал и в детстве, видывал и взрослым, и тоже не сухими глазами. (Тут мне вот что хотелось бы в скобки заключить. Ни мужик-пахарь, ни мужик-арестант ни на волос не верит барским сентиментам, хотя и не слевшит чем-либо попользоваться. Пусть так. Но нынче и человек интеллигентный посмеивается над сентиментами. О, знаю, знаю, милосердная слезинка быстро высыхает. Однако не бесследно, нет, она не дает прочерствовать до прозелени. Опять же понимаю, это еще не признание собственной греховности, а все же на вершок, на вершочек поближе.)

Да, так вот в Перми. Из окна гостиницы смотрел он на

этапную партию – простолюдины, разбойники и воры, политические. Смотрел, да вдруг, как на краю обрыва, властно потянуло, властно, отчаянно-весело повлекло в гущу, в стрелень этого исхода, чтобы в миг единый, однажды и навсегда отрешиться от пошлейших условий и условностей, от всего расстройства жизни, отрешиться и откочевать в новые места. Он так и сказал, нажимая голосом: *новые*.

Это ж не география, не широта и долгота, не север, не юг, понять надо, вникнуть. Ашиновского колониста взять, он не в Африку поехал, хотя и поехал в Африку, он *в Новую* Москву подался, потому что в старой пахами дышал, как опоенный мерин. У него исконная, отчич и дедич, из-под ног уходила, как у Антея, да только не Зевсов сын душил, а городской и «свой», деревенский, из класса паукообразных...

Рассказав пермское, Глеб Ив. замкнул скорбно: «А дальше Тюмени, пожалуй, и не ушел бы». Вот эта самая Тюмень, в каком, спрашивается, смысле? Холодно взглянув, пожмешь плечами и скажешь: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». А ведь не то, не то, господи боже ты мой. Не то! Беда, горе-злосчастье: не надеялся он, не уповал на новину и в новых-то, ну, совсем, совсем новых местах, вот в чем беда, горе-злосчастье... Об этом еще напишу, а сейчас о Тютчеве продолжу, Николае Сергеевиче.

Боялся я его визитов к Глебу Ивановичу. Только появиться, я навастривал уши, как овчарка. Сколько успевал замечать, он и с Глебом Ив. пребывал замурованным в суровой

сосредоточенности. И все же какая-то внутренняя защелка, что ли, не давала ему катить на Глеба Ив. тяжелую тачку каторжанской укоризны. Надо полагать, в душе Тютчева, как жердь в колесных спицах при спуске с крутизны, сидела мысль, что уж кто-кто, а Глеб Ив. платил за свою вину перед русским народом такую пеню, какую не уплатил ни один великан словесности.

И все же мои опасения не улетучивались. Ведь и с тормозилкой в спицах колеса полозят. Странно, глупо, но я упускал из поля зрения необыкновенную – другого слова не подберу, а надо бы – необыкновенную, покоряющую искренность Глеба Ив. И потому глупее-глупого изумился, встретив Николай Сергеевича сильно взволнованным.

Столкнулись мы в сенях, он шел от Глеба Ив., палкой-посохом не пристукивал, на весу держал, неуклюже, будто не зная, куда деть. Тут же, в сенях, случилось быть и В.Ф.Кожевниковой. Тютчев остановился. Истончившимся от волнения голосом повторил нам только что сказанное Глебом Ивановичем.

В памяти моей навсегда оттиснулось, слово в слово. «Вы счастливы, – сказал он Тютчеву, – тюрьма и ссылка сохранили вам совесть. А вот я все подлые годы прожил не в тюрьме, не в ссылке, а это уж такое пятно, ничем не ототрешь, ничем не вытравишь».

И твердокаменный Тютчев, казалось мне, был действительно счастлив, повторяя сказанное Глебом Ив., но счаст-

лив-то не своим тюремно-каторжным превосходством, а тем, что преисполнился глубокой любовью. Любовью к Глебу Ив. Успенскому.

Нужно было видеть и Вареньку Кожевникову. Она питала к Тютчеву неприязнь, если не сказать враждебность, и вот радовалась его счастью, даже скулы разрумянились.

Мне слышались колокольчики летящих навстречу друг другу человеческих сердец, и я готов был заключить в объятья и этого страстотерпца-народника и этого марксида в юбке...

С маху написав «марксид», робею впредь называть нашу молоденькую фельдшерицу лишь по имени. О нет, буду величать и по батюшке. Этого требует и капитальная доктрина, которую она исповедовала, и докторальный тон, которым она проповедовала.

Варвара Федоровна Кожевникова прежде служила в Петербурге. Добровольная смена столицы на глушь могла бы, пожалуй, растревожить уютное жандармское гнездышко на Московской улице. Но полковник де Гийдль либо отчаянно хлестал шампанское, либо самозабвенно удил рыбу. А жандармский ротмистр Федякин, уродившись фефелой, фефелой и остался.

Что до меня, то я объяснял ее перемещение с берегов Невы на берега Волхова альтруистическим устремлением «в стан погибающих». Мнение это, вполне понятное людям моего поколения и моего умонаправления, проверки не выдержало, дело было не в альтруизме. Не стану, однако, отрицать, что с

обязанностями своими Варвара Федоровна справлялась превосходно. Да вот местечко-то выбрала неспроста, о чем я поначалу не догадывался.

Не знаю, почему я был взыскан ее вниманием. Может быть, так сказать, по касательной, вследствие нашей короткости с Глебом Ив. А может, кто-то из новгородцев шепнул, что этот Усольцев и гнездышко на Московской – вещи несовместные.

Говоря о новгородцах, должен заметить, что под губернскими кровлями обитали отнюдь не кувшинные рыла. Тому много способствовала колония ссыльнопоселенцев, включавшая не только народников, но и социал-демократов. Бывая в городе, я почти всегда заглядывал к Н.И.Ушакову, секретарю губернской управы. Николай Ильич привлекался к дознаниям по политическим мотивам еще в семидесятых годах; в Новгороде он, как и Тютчев, находился под гласным надзором. Варвара Федоровна тоже посещала Н.И.Ушакова. Полагаю, он-то и выдал мне похвальную грамоту.

Но если бы Усольцева не было в Колмове, мадемуазель Кожевникова выдумала бы Усольцева. Ее снедала жажда миссионерства, ее библией был «Капитал». Заглянув в этот грессбух, я отшатнулся. Скуластенькая, некрасивая Варвара Федоровна надменно поджала губы. Ни дать ни взять игуменья Измарагда, настоятельница соседнего с нами Деревяницкого монастыря. Я почувствовал себя послушником и покорился. Варвара Федоровна, не мешкая, осенила меня крест-

ным знамением: товар — деньги — товар.

Несколько позже мне стало известно, что перевод «Капитала» выполнил Герман Лопатин, задушевнейший друг Глеба Ив., пожизненно заточенный в шлиссельбургский каземат. Но будь переводчиком сам доктор Маркс, в черепной коробке доктора Усольцева не прибавилось бы мозговых извилин. Нужны были иные навыки, иные привычки мысли. Главное же то, что К. Маркс исследовал не нашу, а европейскую экономику, западный капитализм. Тут-то и возлежал камень преткновения, на кривой не пообедашь.

Я держал сторону Ник. Сергеевича Тютчева — дескать, коня и лань в одну колесницу не запряжешь, общих закономерностей нет и быть не может, ибо Россия не Запад, а Запад не Россия. Варвара Федоровна ходила на нас в атаку. Добро бы с пылкостью «молодо-зелено». Так нет же! В ее сухой докторальности был отзвук презрения к нашей старческой немощи... Вот уж где закономерность так закономерность: каждое поколение считает себя умнее, авантажнее предшествующего, хотя бы потому, что оно последующее... Лично я, человек покладистый, не без телячества (выражение Глеба Ив.), не прочь был признать, что старого пса новым штукам не выучишь. Другое дело Тютчев. Он свой редут отстаивал, как севастопольский ветеран. Законы, открытые Марксом, угрюмо заклинивал Ник. Сергеевич, не фатальны для России.

А мне думалось: вот, мол, в одном поезде едут, но в раз-

ных вагонах; притом он полагает, что следует из пункта «А» в пункт «Б», а она – из пункта «Б» в пункт «А». Мои попытки привлечь внимание к пункту «К», то есть к опыту Колмова, встречали союзную иронию враждующих сторон. Да-с, без улыбки говаривал Тютчев, но для сего, сударь, надобно всей России рехнуться. И они косились на меня с таким видом, будто покручивали у виска указательным пальцем. Странно, люди умные, а того в толк не возьмут, что коллективное, артельное, мирское, воплощенное в колмовском хозяйствовании, разрешает все проклятые вопросы. Право, странно.

Пока они, выражаясь фигурально, разъезжались в разные пункты, поездом Петербург – Новгород, прибывающим за час до полуночи, какие-то таинственные личности доставляли нашей фельдшерице запрещенную литературу, типографские принадлежности, стопы бумаги. Вместо того чтобы распространять, пропагандировать колмовской опыт, они избрали нашу больницу складочным местом. Вероятно, даже Судейкин, некогда знаменитый сыщик, считавший революцию безумием, а революционеров безумцами, даже и он вряд ли заподозрил бы причастность сумасшедшего дома к каким-либо конспирациям... Что и толковать, все странно, странно, странно... Мне вот что вдруг пришло в голову. Не знаю, как сейчас, а в прежнее время некоторых революционеров перевозили из тюрем, даже, кажется, из Шлиссельбургской, в Казанскую психиатрическую больницу; там, однако, не возникало подобия колмовского коллективизма.

Опять-таки странно. Впрочем, причина, надо думать, в том, что в Казанской держались наистрожайшей системы «стеснения»...

Так вот, складочное, стало быть, место, и одним из кладовщиков оказался пишущий эти строки. Варвара Федоровна хранила в моей квартире увесистые холщовые мешочки, плотно, как дробью шестого номера, набитые свинцовыми литерами. Отнюдь не желая прокатиться за казенный счет в края северного сияния, я по сему поводу не ликовал. Однако ж не отказался. Почему? Да все то же телячество; так сказать, польщен доверием.

Где она прятала другой «товар», я, конечно, не спрашивал. Но то, что в Колмове не только склад, а и транзит, догадаться не составляло труда. Много позже, задним числом, я узнал, что в Новгороде в ту пору была типография «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» или что-то в этом, социал-демократическом, роде. А тогда я одно знал – Аввакир Д. таскает холщовые мешочки в город; привяжет бечевками под рубахой, наденет просторный казенный халат – и в путь. Опять же недурно придумано; кто станет обыскивать сумасшедшего?

Аввакир Д., на мой взгляд, случай не медицинский.

Ныне мало уж кто помнит убийство Мякотина.

Он и его ровесники, гимназисты старшего класса, надумали основать тайное общество. Аввакир Д. был из учредителей, Мякотин тоже. И вдруг Аввакир Д. по секрету от



Мякотина объявил сотоварищам, что Мякотин предатель. Несколько дней спустя несчастного убили в подгороднем лесу. Заговорщики обезглавили труп, голову отнесли в сторону и затолкали в ельник... Пишу – и дрожь пробирает: как-вы юноши!

Преступников вскоре схватили. На суде они корчились в истерических припадках. Аввакир Д. был исключением. Он тупо твердил, что убийство было неизбежностью. Однако путался в объяснениях этой неизбежности. Сперва так: собаке – собачья смерть. Потом так: жертвоприношение послужило бы искрой всероссийского мятежа. Сожалел лишь о том, что в горячах отсекли голову, – измена как гидра, отрубишь одну голову, вырастут две; Мякотина-то он знал, а теперь вот иуду быстро не угадаешь.

Суд пригласил Б.Н.Синани, он тогда еще был у нас главным врачом. Борис Наумович нашел Аввакира Д. невменяемым и согласился принять на излечение. Правду сказать, я предпочел бы, чтобы этого наглого прындика сплывили на Сахалин. По-моему, Аввакир Д. страдал, сам от того не страдая, нравственным идиотизмом. А нравственный идиотизм – явление социальное, больницам неподведомственное.

Как бы ни было, Аввакир Д. находился в Колмове. Он был непереносим. Он преследовал больных – кипятком плеснет, калом замазает и проч. Случалось, ему задавали взбучку. И что же? Аввакиру праздник: «Ага! Разбудил! Проснулись!» Напротив, многотерпеливый персонал, подчиненный систе-

ме «нестеснения», бесил Аввакура. «Темное царство! – кричал он. – Рабы, холопы!» Его глаза, поразительно ясные, почти прозрачные, выражали откровенную и, готов поклясться, честную решимость возмущать спокойствие; он был, что называется, разбивателем стекол.

Следуя методу Б.Н.Синани, я скрепя сердце внушал Аввакуру Д., что он, в сущности, добрый малый, а был бы и вовсе хорошим, если бы перестал пакостить. И кому же? – вопрошал я патетически. И отвечал раздельно-гипнотически: людям, честно зарабатывающим хлеб свой насущный. Не помню, сколь долго продолжались эти пассы с вариациями, но усилия мои были вознаграждены неожиданно и оригинально.

Аввакур Д. вдруг согласился с тем, что он человек мягкого сердца. Господи, обрадовался я, так в чем же, Аввакурушка, дело? Кажется, от прилива чувств я даже взял его за руку, как берут младенца или слепца, чтобы обойти лужу. Но глаза ясные-ясные, почти прозрачные, глаза-то были у него зрячие.

Он сказал так: послушайте, доктор, надо же кому-то творить зло. Понимаете? И бога гневить, и черту перечить... Понизив голос до шепота, убийца Мякотина открыл мне свое таинственное, свое великое, трудное, утомительное предназначение. Настолько утомительное, что он, посвящая меня, привставал на цыпочки и, будто сопротивляясь давлению воздушного столба, вытягивал шею.

Да, он, Аввакир Д., предназначен везде и всюду, поелику возможно, творить зло. Ибо, исчезни зло, исчезнет и добро. Ибо, чем больше зла, тем, естественно, и добра больше. А так-то, если попросту, то иной раз такая скука возьмет, так все надоело, да и доброе делать, в сущности, интереснее, не говоря уж о том, что приятнее, однако как вспомнишь, что все цветы добра увянут, засохнут, оставшись, так сказать, на беззлобной земле, в беззлобной атмосфере, как вспомнишь, ну и берешься за прежнее. И тут этот философ, этот доморощенный Мефистофель преспокойно и, пожалуй, с ленцою плюнул в мою физиономию, после чего удалился, производя руками движения, какими, вероятно, дьявол запахивает свой плащ, если только дьявол носит плащ.

Перекипев, несколько придя в себя, я словно бы расслышал эхо африканской притчи о вековой тяжбе Зеленого Добра и Черного Зла. Притча заканчивалась «по Аввакиру»: ежели Добро изничтожит Зло, то чем же торжествующему Добру заняться на другой день? Сдается, что-то похожее и у Аристотеля, в его мысли о том, что неизменность Зла подтверждает существование высшей сферы Добра. Между нами говоря, я предпочел бы, чтобы они поменялись местами. В сферах, там и музыка сфер, но мы-то не слышим.

До времени Аввакир Д. не принимал участия ни в полевых работах, ни в ремесленных. Так же, как и горсть бывших чиновников, не желавших «унижать себя мускульной работой». Б.Н.Синани, еще будучи главным врачом, поло-

жил правилом: тех, кто может трудиться, но не трудится, содержать на голом рационе. (Стол артельный был обильный, а рацион, в соответствии с земским бюджетом, скудный.) Тунеядцы имели наглость жаловаться губернатору. Тот деликатно давал понять Б.Н.: милостивый государь, нельзя же добиваться справедливости в сумасшедшем доме. Б.Н. сардонически парировал: ваше превосходительство, только в сумасшедшем доме и возможно апостольское – кто не трудится, тот не ест.

Аввакир Д. не примыкал к жалобщикам. Не до того было Аввакиру Д. Серым волком рыскал он в больничных покоях, в поле, на скотном дворе, в мастерских, рыскал, заглядывал в лица, искал... он искал предателя. Ведь измена что гидра – вместо головы Мякотина выросли две, три, вот он и должен обнаружить иуду. Но что же мог предать иуда в Колмове? То есть как это что, возмущался Аввакир, ведь и сумасшедший дом не останется в стороне при всероссийском восстании. Его ясные глаза смотрели цепко. Право, не по себе делалось, даже и жутковато.

Говорят, один портретист рисовал и перерисовывал Люцифера до тех пор, пока тот не предстал пред ним и не грянул: зачем ты изображаешь меня таким уродом? Боюсь, я рискую тем же, если не упомяну о романтическом чувстве Аввакира Д.

Романтические чувства не такая уж редкость в больнице для душевнобольных. Я мог бы привести трогательные при-

меры Филемонов и Бавкид. Но Аввакир Д.? В его сердце, казалось мне, не нашлось бы и струночки, способной прозвучать нежностью. А вот, извольте-ка, носил букетики мадемуазель Кожевниковой.

Я рассказал Варваре Федоровне историю Мякотина. Ответом были рассуждения об идиотизме русских условий, определяющих изуверские поступки, о пагубном обаянии террора, обаянии, которое они, русские социал-демократы, в юности восхищенные народовольцами, обязаны преодолеть и в самих себе, и в других. Все это имело резоны. Но рассуждать, как с кафедры, когда речь-то зашла об ужасном преступлении Аввакира Д. и К0? А замечание об «идиотизме» было и вовсе непристойным. Каковы бы ни были «условия» – они наши, на ровном дыхании произносить «идиотические», это уж ни в какие ворота. (Я, собственно, не против смысла, а против тона.)

Простерлось ли ее миссионерское рвение и на Аввакира Д.?

Пусть она свои эмоции подчиняла рационалистической концепции. Даже и такой, совершенно ненавистой Н.С.Тютчеву, как неизбежность гибели мужика в фабричном вареве. Но Аввакир Д. и его «теория», его практика Зла? Но Аввакир Д. и маниакальные поиски «гидры», «иуды»?

И все же некоторые признаки указывали на то, что Аввакир Д. находился под влиянием Варвары Федоровны. Сказывалось, конечно, и романтическое чувство, но, смею думать,

не только романтическое.

Начать с того, что Аввакум Д. взялся за дело. «Ковырять землю» – его выражение – он не пожелал, а пожелал приобщиться к мастеровым, ибо «за ними будущее» – выражение, на мой слух, заимствованное у мадемуазель Кожевниковой.

Аввакум Д. остановил свой выбор на Илье Ильиче Птичкине. (Врачебная этика запрещает называть фамилии больных, но тут другой случай. Во-первых, записки не для печатания; во-вторых, бедняга сравнительно недавно умер.)

Птичкин – кожа да кости, личико с оладушек, борода сквозящая, реденькая, как у скопцов – Птичкин, в прошлом гробовщик, был помещен в Колмово по поводу пароксизмов безудержной ярости. Любопытно, что его аффекты провоцировались родственниками покойников – они норовили спровадить своих незабвенных сколь можно дешевле. Еще любопытнее то, что Птичкин бушевал не корысти ради; он ярился на неуважение к усопшему. Ему, к смертям, казалось бы, привычному, кончина любого человека представлялась не уходом в лучший мир, а следствием «числовой ошибки», вкравшейся в мироздание, «ошибочки», о которой скажу чуть позже.

В Колмове, естественно, бывали и летальные исходы. Птичкин не бушевал, понимал, что здесь хоронят за счет земства, но огорчался страшно, что не мешало ему охотно и даже с некоторым художническим удовольствием сооружать домовину.

Самое же примечательное в том, что колмовская система «нестеснения» обнаружила в натуре Птичкина действительно художественный талант. (Вот еще пример благотворности указанной системы, отсутствующей в обществе людей с так называемым здравым смыслом, где таланты мнут и душат сотнями.) Талант Птичкина заключался в рисовании по шелку. Несколько его рисунков я послал в Питер. Они нашли спрос в Гостином дворе. Заказы не замедлили, Птичкин работал усердно, у него появились волонтеры-подручные, пропит округлялся.

Надо отметить, что все доходы нашей колонии поступали на общий кошт. Работники довольствовались крошечными суммами, никто не роптал, чем мы опять-таки выгодно отличались от «здравомыслящих». И вдруг Птичкин запросил прибавки. Для чего, почему? Он мялся, мямлил, тряс козлиной бородкой, морщился. Не доверял мне, явно не доверял. Я непритворно разобиделся. Наконец, он вымученно произнес: «Помогите спасти земной шар...» Меня, как говорит Егоров, взяла остолюбуха.

А дело-то было вот в чем.

Земной шар, рассуждал Птичкин, для того вращается, чтобы жили человеки и твари. Однако есть где-то подколодный злодей, ущучит минуту и прекратит вращение. Вот и надобно поскорее тиснуть в газетках объявление: сожри, сударь, полмиллиона и отвяжись... Но это еще не все. Сотворив Землю, объяснял мне Птичкин, Творец допустил про-

машку, ошибочку. («Ошибочка» произносил Птичкин отнюдь не осуждающе, а так, как произносят: и на старуху бывает проруха.) Однако есть «научный ученый», ну, вроде бы мудрец-часовщик, надобно другое объявление дать: поллучи, благодетель, полмиллиона, излови ты, бога ради, эту тлетворную ошибочку-козявку, по причине которой человеки-то существуют наискось, раскорякой, ползком и спотыкливо да и помирают несолоно хлебавши.

Вот для чего он и требовал прибавки за свои рисунки по шелку – страсть как хотел сколотить миллион. Растроганный, я обещал Птичкину делать особые отчисления на особый банковский счет, Птичкин прослезился. Я почувствовал себя мошенником. Но ложь, даже ложь во спасение, как, впрочем, и правда, чревата непредсказуемым! Птичкин мучился сам, мучил своих волонтеров – добивался шедевров. Оно и понятно, за шедевры можно запросить втридорога, а значит, и скорее сколотить выкупной капитал для всеобщего спасения.

Замечу попутно: Глеб Ив., собираясь писать о колмовских «типах», хотел посвятить Птичкину очерк. В конце концов, и Глеб Ив. жизнь положил на поиски «выкупного капитала»!

Нехотя возвращаясь к Аввакуму Д. Чего искал он в артели Птичкина? Художественный промысел, говорю уверенно, ничуть не привлекал Аввакума, хотя подручничал он исправно. Гвоздь был в отпускном билете!

Из Колмова удирали редко, как в свое время редко удира-



ли из Новой Москвы. Атаман Ашинов отвергал право *вольных* казаков на перемену места жительства; находящихся в нетях он зачислял в дезертиры. Колмовских же беглецов, за версту приметных арестантскими халатами, летом легкими, триковыми, зимой тяжелыми, верблюжей шерсти, «вертала» полиция. Б.Н.Синани, а потом и я устраивали беглецам распеканцию: позоришь нашу колонию, никто на цепи не держит, скатертью дорога и т. д. Но полиция задерживала и нарочных, посланных в город для различных артельных нужд, и мы стали выписывать отпускные билеты. Вот это-то и было нужно Аввакуру Д. В меньшей мере для Птичкина, в большей – для мадемуазель Кожевниковой с ее холщовыми мешочками, набитыми типографскими литерами.

Все шло как по маслу. И вдруг... Ей-ей, не поверил бы, если бы не верил Илье Ильичу Птичкину.

С разнесчастным, потерянным видом он стал секретно за-  
верять меня в том, что Аввакур Д. и есть тот самый зло-  
дей, который ущучивает минуту, чтобы прекратить враще-  
ние земного шара. Что такое? Почему? В чем дело? Оказы-  
вается, Аввакур вознамерился вздыбить колонию, ибо тру-  
жеников-колонистов обирает начальство. Забастуем, подби-  
вал Аввакур, учредим выборное правление, а выбирать стан-  
нем из своего же брата.

Как прикажете поступать? Надеть на смутьяна смиритель-  
ную рубашку было бы грубым нарушением системы «нестес-  
нения». Приняли решение либеральное: наблюдать. Пока-

мест наблюдать. Надеялись на благоразумие наших людей, они же трудились добровольно. Но с другой стороны, были, мягко выражаясь, людьми с неустойчивой психикой. Черт подери, этого курносенького блондинчика, этого ясноглазого сеятеля зла все ж таки надо было в свое время сплавить на Сахалин.

Повторяю, я знал о некоей подчиненности Аввакура Д. мадемуазель Кожевниковой, однако и на унцию не допускал ее причастности к нелепой Аввакуровой пропаганде. Нет, не допускал, но... Невмоготу стало выслушивать ее докторальные поучения. Я увиливал, она сердилась. Я повторял азы Тютчева – ваша доктрина неприемлема для России, она ж в ответ, как холодной водой из ушата: «Вполне приемлема!» Энергически и все с тем же апломбом племени младого. Но эта «приемлемость» имела конкретный смысл. Вскоре она вручила мне старый номер «Юридического вестника», журнала, который я, честно сказать, никогда не видел, и очерк Глеба Ивановича «Горький упрек», который я никогда не читал.

Когда ты повседневно занят проникновением в потемки чужих душ, для своей не остается времени. Да и далеко не каждый психиатр озабочен досмотром за самим собой. Наоборот, очень немногие склонны анализировать собственное «я». Но состояние, овладевшее мною при чтении «Юридического вестника» и «Горького упрека», так ярко и так памятно.

но, что я постараюсь воспроизвести чувство принадлежности к Потоку. Не причастности, а именно принадлежности.

Я бы сказал – к «потоку истории», если бы само слово «история» не ассоциировалось у меня с реестром злодейств, тусклых не потому, что они просто-напросто забываются, а потому, что они повторяются. При слове «история» вижу нескончаемый коридор: по одну сторону портреты августейших особ, министров, генералиссимусов, по другую – батальный балет на суше и на море. На стороне портретной идет борьба честолюбий и раскладывается вечный пасьянс якобы добрых намерений; на другой – геройские воины, оснащенные разного рода инструментами для кровопусканий, звероподобно бросаются на других воинов, тоже оснащенных инструментами для кровопусканий. Оригинальных картин – пальцев на руке хватит, все прочие – копии, копии с копий, варианты вариантов.

Нет, нет, только не «принадлежностью к истории». Все дело, наверное, в том, что я чувствовал себя в мощном потоке жизни, начавшейся до меня, длящейся при мне и во мне, имеющей продолжение после меня. Я испытывал что-то похожее на санную езду при морозе и солнце, в снежных вихрях, когда добрый конь наддает, наддает, а ты натягиваешь вожжи, и они подрагивают, тебе и весело, и немножко страшно. А вместе с тем нарастало чувство грозное, будто все громче гремел поддужный, все тревожнее заливались бубенцы, а конь всхрапывал, и – на белом, на голубом, в искрах

— серые волки скользили, бока вздувались, зубы скалились... Вот так, примерно так, лучше не умею. И все сие в один присест, колмовским вечером, окунувшись в глубокую ночь, размытую потом рассветом.

Перво-наперво приступил к очерку «Горький упрек». Очерк никогда не печатался от альфы до омеги, он имел хождение в списках. Логичнее было бы начать журнальной публикацией (посмертной) письма Маркса о России, ведь очерк Глеба Ив. был откликом на это письмо. Нет, поступил вопреки логике. И не потому лишь, что Глеб-гвардеец, а потому, признаюсь, что неприязнь питал к д-ру Марксу.

Каково же было мое изумление, когда Глеб Ив. в первых же строках яснее ясного заявил, кто, собственно, шлет горькие упреки. Вовсе не он, русский писатель, а немецкий автор — нам, русским. За что? А как раз за то, что мы, да-да, мы-то и выпускаем из рук свою самобытность. Вот так-то! Положим, и Глеб Ив. изобразил отшествие Авраама и пришествие Хама, то есть мужицкий разор и буржуйную разживу, но дробно изобразил, а д-р Маркс ухватил, что называется, под жабры, изучив русскую экономическую литературу, русские официальные издания... Прямо в уши мне прозвучал трубный его голос: очутились вы на европейской дорожке, не сумеете свернуть, не успеете выскочить, ну и прости-прощай самобытность ваша; прости-прощай, ждет вас брюхо Господина Купона...

Спрашивается: для чего и зачем мадемуазель Кожевнико-

ва вручила мне и журнал «Юридический вестник», и список очерка «Горький упрек»? Какая «приемлемость», какие общие, фатальные законы?

И вот тут-то марксидка ошеломила меня своей свободой от Маркса!

Во-первых, сказала она по-обыкновенно сухо и докторально, во-первых, письмо давнее, двадцать с лишним лет тому, и, будучи диалектиком, не следует думать, как Маркс, потому что теперь Маркс думал бы иначе; довод для меня неубедительный. Во-вторых, она, видите ли, сомневалась в точности перевода; довод слабенький. В-третьих, *тогда* можно было предполагать близость социального переворота, близость революции, и Маркс не хотел отнимать у русских революционеров надежду на крестьянскую общину; довод сильный, но не в пользу Учителя – он, стало быть, кривил душой...

А вот уж в наше время, продолжала немилосердная фельдшерица, только сумасшедший волен носиться с земледельческой колонией и обвинять социал-демократов в том, что они сатанински преувеличивают развитие русского капитализма... Сатанински! Да что я в самом-то деле из города Глупова, что ли? Это же глуповцы талдычили: «Сатана», «Сатанинское». Да никогда, ни разу с моих уст не срывалось ничего подобного!

Вот вы говорите, заседала марксидка, пропуская мимо ушей мои «частые» возражения, вот вы отрицаете русский

капитализм... Она встала, положила руки на спинку стула и, раскачивая стул, вскидывая голову, сама себе отвечала, глядя и на меня и сквозь меня. А мы вам, господа, возразим вместе с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, к марксизму, как известно, непричастным, возразим, – Россия *уже* находится в таком положении, когда бежать некуда, кроме как в цивилизацию развитой промышленности. Но если Менделеев не авторитет, то, вероятно, Глеб Иванович...

И тут только я не то чтобы заметил Глеба Ив., а осознал его присутствие... Пока Варвара Федоровна ссылалась на его сочинения – мужицкий мир, породив мироеда, лишился аппетита к сельским работам, разбредается в поисках заработков, плывет да плывет, как мильон вобл, Глеб Ив. курил, молчал, смотрел в окно. И таким неожиданным, таким внезапным был шепот: «Смотрите, крыльями бьет, крыльями...»

Его шепот прожег меня, словно горячими каплями. Что проку в доктринах, в смене поколений, если крыльями бьет Маргарита, вечная узница?

В годы от колмовских дальние, на Васильевском острове, у Глеба Ивановича сходились люди крамольные. Бывала и Фигнер, Вера Николаевна Фигнер. Не с первого взгляда, а с первого рукопожатия – крепкого и краткого – Успенский решил, что ей свойственны порывы гнева. Доказательств он не ждал, но получил довольно скоро.

– От ваших мужиков тошно, – сказала она, прочитав в «Отечественных записках» очерки «Книжка чеков». – Ничего светлого, жалкое стадо.

– Светлое есть, да я-то, Вера Николаевна, пишу о расстройстве крестьянской жизни, и, уверяю вас, пишу правду.

Вот тут она и вспыхнула, даже и ногой притопнула.

– Правду?! Зоологическую!

Успенский оглядел гостей и развел руками.

– Вот, господа, слышали? Вера Николаевна требует: вынь да положи шоколадного мужика. А где такого возьмешь?

Все рассмеялись – «шоколадного». Она улыбки не сдержала, но и укоризны тоже.

– Мы, Глеб Иванович, зовем молодые силы в народ, в деревню, а после такого чтения – калачом не заманишь.

Не хотелось повторять уже написанное, уже опубликованное, но – повторил, повторил голосом «нешоколадного» мужика: «Не суйся! Убирайся вон!» Никто не смеялся. Успенский опять ощутил свое одиночество.

Не злорадством, и они это знали, дышало перо, когда писал он очерк «Не суйся!». Участь народника угнетала уготованностью тюрем, ссылок, эшафотов. И еще не менее горьким: народ не принимал народника. Вчерашний крепостной отпихивал чужака, ряженого чужака, горожанина: «Убирайся вон, не твое дело...» Успенский не пугал деревней, не отваживал от деревни: он писал правду. Людям подполья Успенский верил до конца, они были начисто лишены мело-

драматизма. Успенский не верил в бомбу, начиненную динамитом. Светоч идеала слепил людей подполья. Не заслоняясь, лишь опустив глаза, Успенский видел поле. И слышал тревожный шелест колосьев, возникавший вместе с тенями от наплывающих туч будущего. Его одиночество было вынужденным. Он стоял особняком именно там, где ему хотелось бы стоять в обнимку. Очно или мысленно он оглядывался на Веру Николаевну Фигнер. Она была красива не тонкостью черт, не ровной, матовой белизной лица, а ясной и строгой одухотворенностью всего существа своего. Он принимал ее гнев и укоризны, потому что душа ее вмещала *общее* горе.

В Колмове он задумал писать о Вере Фигнер, навечно, пожизненно осужденной и находившейся в Шлиссельбургской крепости. Начинать писать и бросал. Вместо живого облика маячил перед глазами фотографический портрет, тот, что был в петербургской квартире, и тогда возникала Маргарита, черный плат, бледный лик.

Почему Глеб Иванович называл ее Маргаритой, Усольцев не объясняет, а я нигде ничего пояснительного не нашел. Знаю только, что в особенно тяжкие для Успенского минуты Шлиссельбургские караулы, оглохшие в мертвой тишине, не слышали легкую, быструю, беззвучную, поступь вечной узницы. Она оставляла позади коридоры, переходы, закоулки, дворы, где пахло как в склепе, дресвой, окалиной, тленом. Последняя дверь, железная дверь угловой башни, словно бы



нехотя, отворялась пред нею, в узком проеме, как в раме, означался бледный лик, черный плат, и вот уж ее не было в, Шлиссельбурге, она была в Колмо́ве.

Страшась смерти, говорила она голосом твердым, но словно бы ослабевшим от бесконечного молчания в одиночном каземате, страшась смерти, ты малодушно призываешь смерть, забывая, что нравственная порча настигает стремительнее физического небытия. Ты говоришь, что все ухнуло и лопнуло, остались злоба и смрад, но, если ты с этим соглашаешься, значит, ты – былинка злобы и смрада. Да, былинка, а если и писатель, то всего-то навсего писатель, живущий в России, а не русский писатель, потому что русский писатель будит общественную совесть, а ты бром глотаешь, бранишься с Егоровым иль предаешься воспоминаниям с доктором Усольцевым...

Слушая Маргариту, он вдруг видел себя в освещенном, натопленном зале, посреди возбужденных молодых людей, они смотрели на него радостно, кто-то, вытянув шею, проносил «шшш», кто-то ласково пожимал его локоть – они ждали, ждали, ждали, и он обронил запинаясь: «Давно не пишу... Теперь буду...»

Так было еще в первую колмовскую годину, когда Синани разрешил недолгую отлучку в Петербург. Несколько дней Глеб Иванович прожил на Васильевском; в комнате был портрет шлиссельбургской узницы. В один из тех дней – трескучих, морозных – посетил студенческий литератур-

ный вечер на Михайловской, в Дворянском собрании. Вечер давали в пользу землячества студентов-сибиряков. Глеба Ивановича узнали, окружили, ему радовались. «Давно не пишу... Теперь буду, буду...» А на рассвете, в час тяжелого багреца, когда отдают богу душу или уводят на эшафот, на рассвете сдвинулась плита чугунная, и там, в жерле, в колодце, в омуте, копошился, ворочался *Иваныч* – тот «элемент» натуры Успенского, который он называл «свиным» и который был сгустком безобразной наследственности в перемеси с бессовестностью его земного существования, его жизни. Он и здесь, в Колмове, ощущал, как копошится, ворочается Иваныч, напирает изнутри, разве что не чугунная плита мерещилась, не жерло, а грязные фонтанчики, что выстреливают, брызжут меж торцов питерской мостовой, предвещая наводнение. В такие минуты он брезгливо ненавидел свое тело, словно бы зараставшее жесткой щетиной, этим внешним признаком «свиного элемента».

Спасти от Иваныча могла бы Маргарита, если бы он, Глеб Успенский, мог спасти Маргариту. Но у него не было Слова, способного расточить узы и утвердить Маргаритину власть – всероссийскую, всемирную, вселенскую. Он искал Слово, находил словеса, душа его изнемогала.

И вот она опять явилась в Колмово, бесшумно приблизилась к окну, за окном покачивались ветви, одетые листвой, и Успенский сказал: «Крыльями бьет, крыльями, да это ж Россия...»

И вдруг он понял, что ему делать.

— Пора в дорогу, — сказал он таким ясным голосом, что у доктора глаза посветлели.

— Хоть завтра, — согласился Усольцев и добавил, улыбаясь: — Еще древние советовали: когда наступает улучшение, отправь пациента в путешествие.

«Хоть завтра» — вырвалось на радостях. Однако человеку при должности негоже оставлять должность сиротеющей. «Хоть завтра» Усольцев не мог, два дня спустя мог. «И непременно пешком, — говорил Успенский, — всю жизнь ездил, а надо ходить по земле».

Они поднялись так рано, что даже пеночки и зяблики еще спали. Запах сада послышался Усольцеву долгим ми-мажорным звуком, и доктор, бодро настроенный, подумал о целебном действии ароматических молекул. Небо было мутным, нечистым, но Успенский уверял, что день отстоит без дождя, жарким, еще и в усолонь потянет.

— Без дождя? Почему вы знаете? — Доктор на ходу поигрывал тросточкой.

— А вчера-то вечером не слыхали? Кузнечики как оглашенные, а лягушки концертировали — примета верная: быть вёдру!

— Положим. Ну-с, а какая-токая «усолонь», это с чем едят?

— Эх, доктор, доктор, без году век среди новгородцев, а знать не знаете. Небось, там-то, у Красного моря, там,

небось, каждый день усолонь искали. Тень это, доктор, тень... Ба! Что за форум?

На широкой опушке дубовой рощи толпились едва ли не все колмовские работники. Спозаранку пришли они благословить почин артезианского колодца. Надо было и скважину пробить, и оросительные каналы вырыть, и желобы соорудить, чтобы излишек отдавать Волхову.

Почин вершили землекопы. Остальные, торжественные, как на престольный, наблюдали. Усольцев растрогался: «Вот, Глеб Иванович, видите, как у нас-то, а?»

Заметив доктора, один из землекопов – высоченный, дюжий, с бородой ушкуйника – возвестил гулкой, как у прото-дьякона, октавой:

– Подземная вода, слепая вода узреет солнышко!

И все перекрестились.

Дальнейшие записки Н.Н.Усольцева показались мне несколько странными.

Прежде писал он конторскими ализариновыми чернилами. Такими же, какими служебно писал «историю болезни», по-тогдашнему – «скорбный лист», что на мой слух выразительнее. (Пожалуй, так и следовало бы назвать эту повесть.) Да, чернилами писал, а тут пошли в ход и цветные карандаши, наводившие на мысль о какой-то системе курсивов. Я пытался ее обнаружить, но нет, не обнаружил.

В его фрагментарных записях не обозначены ни марш-

руты, ни даты посещения тех или иных пунктов, включая и усадьбу де Воллана с одним-единственным жителем. В усольцевских воспоминаниях о Новой Москве и Абиссинии ничего подобного не наблюдалось; присутствовала точность хронологическая и топографическая. Стало быть, «пешее хождение» рискует вызвать нарекания читателя-краеоведа.

И еще одно. В Сябринцах не оказалось семейства Г.И.Успенского. А ведь свидание было обусловлено с Александрой Васильевной. Возможно, Глеб Иванович не успел предварить свой приезд, вернее, «приход» телеграммой, и Александра Васильевна была в столице.

В Петербурге часто сменялись наемные квартиры – он был жильцом. В губерниях еще чаще сменялись номера и съезжие избы – он был постояльцем. И только здесь, у мелкой Керести, булькающей на камешках, как иволга, здесь, в Сябринцах, был его *Дом*.

Не наследственный, а благоприобретенный. Слово составное; юридически – на свои деньги, на свои средства, но выделить надо другое: приобретенный во благо.

Весной восемьдесят первого оставаться в Петербурге стало невмоготу. Не потому, что Петербургу быть пусту в пору вакатов и отпусков, а потому, что в городе пластался Семеновский плац, а на плацу Семеновском в апреле восемьдесят первого повесили первомартовцев.

В день казни Глеб Иванович не то чтобы не нашел в себе

сил хоть взглядом проститься с ними — он не нашел в себе сил оказаться в толпе жадно любопытствующей. Александра же Васильевна была на Семеновском, в этой толпе. Она разрыдалась, выкрикивала что-то несвязное. Ее толкали, на нее шикали, будто слезами своими и криком мешала она церемониальному действию, от которого толпу бросало в завороченный трепет. Она вернулась с плаца, дрожа всем телом, зуб на зуб не попадал, губы были белые. Удавки, захлестнув пятерых, захлестнули Глеба Ивановича, он горел в жару, как в ангине, эскулап диагностировал ангину и присоветовал Крым.

Они уехали из Петербурга так поспешно, что квартальный донес по начальству об «исчезновении г-на Успенского, находившегося в дружбе с казненными государственными преступниками». Коль скоро г-н Успенский пребывал под негласным надзором, сообразительный обер-полицмейстер снесся с новгородским губернатором, ибо в пределах Новгородской губернии г-н Успенский имел обыкновение сочинять свои статейки.

И точно, не в Крым поехал, а подался в край елового сумрака, крушинного подлеска, увалистых верещатников, в тот край, откуда «сеятель и хранитель» при первом удобном и неудобном случае уносил ноги в город, а бабы-горюхи плакались — не шлет никакой «помочи».

Все было как и минувшими веснами. И зеленый шум, и майский жук, и голавль, по-здешнему мирон. Было и при-

вычное ощущение находящегося под надзором. Если не сам урядник, то староста или лавочник подзывал соседей «на пару слов» – ты там смотри-ка, поглядывай за приезжим. И соседи интересовались: «Позвольте спросить, вы зачем приехали?» Ответить: наблюдать и писать, – право, как-то не совсем ловко. Эдак неопределенно рукой повести: я, мол, писатель, – опять последует полувопросительное: «Ага, по писарской, стало быть, части...» Возразить, нет, так, мол, для себя, это же все равно что пригласить: глядите, вот он, олух, вот бездельник. И находящийся под надзором невразумительно приговаривал: «Да, так, знаете ли, посмотрю, отдохну немного». После чего следовало умозаключение: «Ага, при капитале, значит». Признавать «капитал» – хлестаковщина какая-то, черт знает что. И выходило: а этот-то, приезжий, он, брат ты мой, крошечный какой-то человек; с виду несамостоятельный, а за все платит, не торгуясь, даже будто и конфузясь дешевизной запроса. Платит? Платит! Ну, так и леший с ним, пущай живет, однако по нынешним временам глаз нужен.

Все это он знал не хуже, чем «Отче наш». И все это дьявольски надоело. Но в тот год, восемьдесят первый, в год Семеновского плаца, было и другое, прежде небывалое. В зеленом шуме слышался ропот толпы, в тених от суковатого дерева мерещилась виселица. А толстый майский жук, а крупные звезды болотных незабудок, а белесая кислица в ельниках и даже мирон, немой как рыба, – жужжали, нашепты-

вали, шуршали: бесстыжий, бесстыжий, бесстыжий. И это жужжание, нашептывание, шуршание преследовало пуще, чем «подозреваемость», когда ты вроде птицы, заметившей черное дуло дробовика.

Может, и вправду надо было отдохнуть душой и телом у теплого моря, в виноградниках, под плоскими кровлями хижин татарских? Нет, в Крым не поехал. И не потому лишь, что поездка вывернула бы наизнанку карман, а потому, что должен был остаться там, где был. И он укоренился в своем *Доме*.

Деревня находилась близ Чудова, называлась – Сябринцы. Чудово – это чудь, а сябры – это соседи. Все перемешались давным-давно, нимало не заботясь о чистоте крови. Забот хватало о хлебе насущном. И окрестные мужики, и чахоточная мастеровщина фарфорового завода даже и в мясоед трескали постные щи.

Завладев усадьбой величиной с овчинку, Успенский «явил» паспорт в Первый стан Новгородского уезда Новгородской губернии. «Негласное», стало быть, продолжалось – за человеком оседлым оно и сподручнее. Оседлый же человек посадил топольки и березы; об этом донесений не было. Донесения были о том, что г-на Успенского навещают люди приезжие, разных сословий, местные тоже приходят к г-ну Успенскому. А что там, в дому, есмь тайна. Может, и эти... как их... оргии, в одной из комнат окошко светлое по вся ночи.



Но сейчас, когда они с Усольцевым добрались до деревни Сябринцы, сейчас еще воспоминания не теснились, а было чувство, в котором сливалось, казалось бы, неслиянное – и волнение, и успокоение. Первое вызвал скрип крыльца и дверей; второе – запах в сенях; этот запах Глеб Иванович и не пытался обозначить словесно. Чего же обозначать, если ты *Дома*.

Усольцев, не желая мешать встрече с Домом, забрел в тень, разулся и прилег, радуясь прохладе. Натруженные ступни горели, он шевелил пальцами и улыбался – не шибкий ты, Коля, ходок, недаром мужики в Новой Москве посмеивались над интеллигентами-колонистами: «Ихнего брата завсегда отличишь – тонконогие».

А Глеб Иванович сразу прошел в ту комнату, которую называл рабочей. (Кабинетов у него никогда не было.) Он оглядел стол, стулья, железную кровать, этажерку. Они с Александрой Васильевной довольствовались мебелишкой, которая называлась и «простой», и «рыночной» – ее изготавливали местные столяры наряду с оконными рамами, лавками, табуретками. В рабочей комнате ничего не переменилось. И это отсутствие перемен, и эти прибранные бумаги, письма, журналы, газеты, уже пожелтевшие и, чудилось, ломкие, но нет, заботой Александры Васильевны не пропылившиеся, все это болезненно-сладко отозвалось свидетельством терпеливого ожидания работника в рабочей комнате: «...и подземная вода увидит солнышко...»

Он работал по ночам.

За окном дремали березки. С дороги не слышать было тележных колес — эх, спицы рябиновые, ободья ивовые.

Он писал, прикуривая папиросу от папиросы, придерживая левой рукой четвертушку почтовой бумаги, писал мелко и четко (наборщики хвалили), сидел прямо, не горбясь, а пепел, к всегдашнему неудовольствию Александры Васильевны, ронял куда попало.

Братья-писатели на свой манер настраивали лиру. Один пропускал рюмочку, другой съедал горячие сосиски с тушеной капустой. Тот погружал длани в лохань с горячей мыльной водой и сидел зажмурившись, а этот задумчиво тыкал вилкой соленые грузди.

Глеб Иванович «настраивался» в маете неприкаянности. Ходил, никого и ничего не замечая. Ходил, одетый не по-домашнему. Не во фраке, конечно; фрак называл «сорокой», сшил однажды — когда в Москву ездил, на Пушкинский праздник. Нет, не во фраке, но в костюме, выходном костюме, как в гостях. Наконец наступала минута, похожая на ту, когда молоко поднялось и вот-вот хватит через край. Он надевал домашнее, такое, что, как битая посуда, два века живет, и переобувался в стоптанные, дырявые штиблеты, ни один старьевщик не дал бы и алтына.

Но, бывало, маета затягивалась.

— Вы, Глеб Иванович, пишете по-барски: когда хочется, —

раздражался Михаил Евграфович. – Нет, пишите, когда и не пишется. По-барски-то каждый сумеет.

Успенский вздыхал, морщился. Ему было жаль Салтыкова: ждет, ждет, а ты ему приносишь ужасную дрянь; Успенский горевал над своей «испорченностью», спешкой, поденщиной. А Щедрин, добровольно пригнетенный ворохами корректур, объяснениями с авторами, грызней с цензурой, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин успевал и чужое, и свое перемарывать, перебелять, потачки не давал. Пригласили его как-то на ежегодный обед писателей не то в «Малом Ярославце», не то у Бореля, он отмахнулся: «Ежегодный обед? Я обедаю ежедневно».

А Глеба Ивановича принесла однажды нелегкая как раз перед «ежедневным обедом». Не отрывая пера, головы не поднимая, Щедрин буркнул:

– Вам что, Глеб Иванович?

Вот то-то и дело – *что*.

Часа полтора тому Успенский был в редакции, получил в конторе триста рублей, выбежал на Литейный, схватил ваньку: валяй во все лопатки, у Александры Васильевны ни рубля, в долгах как в шелках. Ну, потрусили: не рысак, квелия лошадушка. А извозчик попался знакомый, мужик непьющий, смирный, втридорога не заламывал, ему бы справного коня, ого... А теперь вот тебе и «ого».

– Нуте-с, вам что, Глеб Иванович? – повторил Щедрин, продолжая править корректуры и чувствуя, как сосет под ло-

жечкой от голода.

Ах, только бы глаза-то не поднял, не уставился бы сурово, отвергая не то чтобы панибратство, это уж боже спаси, а маломальскую задумчивость. И Успенский торопливо попросил «авансик», ей-ей, к завтрашнему утру все будет готово. Щедрин глянул на Успенского серыми, выпуклыми, насквозь видящими глазами.

– Что-о-о?! Ка-акой «авансик»? Вы нынче получили триста рублей?

– Получил, – покаянно согласился Успенский. – Да, знаете ли, расходы всякие, то-се, мне бы рублей полтора, обойдусь.

– Расходы? Ну-ка, ну-ка, что вы купили? – И, отложив перо, откинувшись на высокую, выше головы, спинку кресла, указательный палец вытянул, будто прицеливаясь к конторским счетам.

– Итак?

Это «итак», словно костяшка на счетах уже щелкнула, привело Успенского в окончательное замешательство.

– А вот, Михаил Евграфович... А я, видите ли, сапоги купил, лучше варшавских, честное слово...

– Охотно верю. А еще что? – пытал Салтыков, не спуская с Успенского глаз, в которых, однако, нет-нет да и проскакивало что-то, придающее Успенскому если не смелость, то все же способность к сопротивлению. – Еще-то какой товар, а?

– А еще фунт сыру, швейцарского, для Александры Васи-

льевны, очень любит швейцарский. И все это, знаете ли, на извозчике, на извозчике, в Гостиный, в Морскую, в Гостиный, в Морскую... А потом...

– А потом, сударь, – прервал Щедрин, – потом я вам скажу: покупок на четвертной билет, а вы триста – триста! – рублей получили, двух-то часов не прошло. Где остальные? – спросил он, словно пистолет к виску приставил. – Отвечайте!

И, хотя пистолет холодил висок Успенского, в глазах Щедрина видел он отсвет отцовской укоризны.

– А сапоги-то!

– Слыхали!

– А сыр-то!

– Тьфу пропасть! Заладили: «сапоги», «сыр», «сапоги», «сыр»... Признавайтесь, роскошествовали, небось? Так, что ли?

Минута была подходящая, самая подходящая минута была открыть карты, сказать, что уж больно извозчика жаль стало, хороший мужик, непьющий, ему бы коня настоящего, ого... Нет, не сумел сказать, что эти-то полтора рубля, теперь искомые как «авансик», он и отдал хорошему мужику, чтоб купил себе хорошую лошадь. А сказать не сумел потому, что ведь «ужасти» как благородно бы вышло, такой, знаете ли, благодетель меньших братьев, сирых, неприголубленных.

– Эх вы, Ротшильд, – откатившимся громом рокотал Щедрин. – Отменный бы из вас, Глеб Иванович, министр финан-

сов получился. Буду ходатайствовать, да-с, буду предстательствовать, – бурчал он, оседывая нос большим черепаховым пенсне.

Пенсне это всякий раз и всегда некстати, а нынче и вовсе неуместно и глупо, проблескивало в голове Успенского мыслью о третьегильдейском купце Бараеве – тесть, покойник, держал мастерскую черепаховых изделий. Да уж, не до тещушки, нет, а все же опять мелькнуло. А Щедрин уже что-то писал на чистом лоскуте бумаги. Положил поверх корректур и писал, перо цепляло, и Успенский, уже догадавшись, чем занят Михаил Евграфович, опасался, как бы тот не посадил кляксу, отчего, вполне это вероятно, раздражившись, сменит милость на гнев. И тогда уж шабаш...

Старик с грубым, как у бурлака, басом, смеявшийся так редко, что все вздрагивали, старик этот втайне очень и очень дорожил Глебом Успенским. Порой даже и гениальным называл, но заочно, а очно нередко и пушил. Полагая доброту человеческую «предметом, достойным величайшего уважения», он находил этот «предмет» возведенным в высочайшую степень именно у «непутевого Ротшильда».

– Извольте, – сказал Щедрин, подавая через стол распоряжение о выдаче «авансика». – Извольте, Глеб Иванович, только, бога ради, не покупайте больше ни сапоги, ни сыр швейцарский. – И сразу отступил в густую тень своей суровости. – А очерк жду к сроку, рассыльного попусту гонять не стану. И можете, воля ваша, язвить меня эксплуататором,

как Некрасова язвили.

Успенский, радостно оживившись, хотел было оспорить – я, мол, Некрасова называл не эксплуататором, а плантатором, такое вот уточнение было на языке, но не успел... А не успел по двум причинам: во-первых, Михаил Евграфович уже уткнулся в ворох корректур, аудиенция была окончена, а во-вторых, потому, что кто-то весело окликнул: «Глеб Иванович!» – он оглянулся: под березами стоял Усольцев.

Передохнув на берегу Керести, доктор, видите ли, чувствовал естественный голод, доктор, видите ли, немедленно готов к столу. Глеб же Иванович рассеянно молвил: «Плантатор», «черный Кадо». Несмотря на загадочность и некоторый мрачный оттенок, сообщенный эпитетом «черный», Усольцев и бровью не повел: за Глебом Ивановичем, выхваченным из задумчивости, водилась привычка «досказывать», словно с разбега, то, о чем он только что задумался. И посему Усольцев гнул свое: голод не тетка.

Тетка-соседка накормила чем бог послал, и сотрапезники, вернувшись в Дом, легли соснуть.

Мерно и мирно похрапывая, Николай Николаевич спал крепким, необыкновенно приятным сном, пока не учуял запах табачного дыма. Доктор осуждающе причмокнул и этим звуком разлепил свои веки.

– Клятвопреступник! – бросил Усольцев неисправимому курильщику.

Уговорились еще в Колмове: путешественник, путеше-

ствуя, очистит авгиевы конюшни, то бишь легкие, от никотина. И вот, пожалуйста.

– И вам не стыдно? – осведомился доктор, спуская ноги на пол и зевая до слез. – Вы же обещали?

– Э, – махнул рукой Успенский, – чего только не наобещаешь, лишь бы на волю выпустили.

Тон был шутливый, однако уподобление земли обетованной тюремному заведению укололо колмовского патриота. В отместку – пусть не впрямую Успенскому, зато в лобовую этой самой «воле» – сказал он не без вызова:

– Укажи мне такую обитель...

Глеб Иванович все так же шутливо польстил панегиристу системы «нестеснения»:

– Ах, Николай Николаевич, кабы ваш тезка-то посетил богоспасаемое Колмово, то, право, указал бы такую обитель.

Усольцев не мог не улыбнуться, но не мог не пустить и другую стрелу.

– «Я не люблю иронии твоей...»

Некрасовское «Я не люблю иронии твоей...» Глеб Иванович цитировал нередко. И еще вот это, для него интимно-трогательное: «Так осенью бурливее река, но холодней бушующие волны».

И теперь уже совсем нешутивно, а как бы искательно, с какой-то беспричинной боязнью отказа, он позвал доктора в Чудовскую луку, от Сябриниц близкую.



В Чудовской луке, рядом с охотничьим домиком, лежал могильный камень, надпись извещала, что под камнем покоится Кадо, черный пойнтер.

Кадо погиб при исполнении служебных обязанностей: его сразила шальная охотничья пуля. Страстен был пойнтер в здешних лесах, на болотах-ледилах, а в домашней праздности, в Петербурге, на Литейном, снисходительно-добр.

– Здравствуйте, Кадо, – почтительно говорил Успенский, снимая в гардеробной пальто и калоши. – Здравствуйте, маркиз. – В черном пойнтере угадывалось нечто старофранцузское, аристократическое, гобеленное. Он смотрел на Успенского пегими, философически-печальными глазами. – Вы славный, вы замечательный, – продолжал Успенский, оглаживал длинную жесткую спину пойнтера и трогая подушечками пальцев нежную шелковистость за ушами. – Вы прекрасны, Кадо, но швейцар вашего замка отвратителен.

Внизу, в парадной, состоял в ливрейной должности сивый, плоскомордый холуй. Дока по части обхождения, швейцар делил посетителей на «плюгавых» и «настоящих». Первые, Успенский в том числе, обращались на «вы», вторые – «тыкали».

А Кадо был снисходительно-добр ко всем, кто приходил к Некрасову. Кадо облаял бы только чиновников цензурного ведомства. А это не только простительно, но и похвально. На цензоров не худо было бы напустить и Топтыгина – в углу прихожей скалился бурый медведь; поднявшись на дыбы,

Михайло Иванович опирался на суковатую орясину.

В кабинете Некрасова, в шкапу, стояли охотничьи ружья. Рассказывали: Николай Алексеевич бьет, как бритвой режет. Успенскому казалось, что в лесах, на болотах, на току Некрасов очень похож на Кадо: поджарый, сухой, весь в напряжении.

— Ах, отец, — проговорил Некрасов усталым голосом и жестом показал на кресло. — Ах, отец, да что же это вы за несчастный такой?

— Опять? — встревожился Успенский, подозревая очередную пакость комитетских цензоров.

— Нет. — Некрасов догадался о том, о чем нетрудно было догадаться. — На сей раз бочком, петушком, а проскочили. Ну, есть два, три пассажика, ладно, управимся в четыре руки. Я не о том. Чего это вы, отец мой, казнитесь? Эва, двести десять рублей! Мне в тысячу раз больше вашего должны, так даже и не чешутся. Нет, сейчас зачеркну, и молчите, молчите, пожалуйста!

Ох ты, господи, еще вчера, да, вчера еще Успенский костил Некрасова «плантатором». Стыд-то какой, многие ухмылялись. Потому и «плантатором», что себя-то сознавал чернокожим. Выжимая все соки, на одних гонорарах держат, а надо бы и на жаловании... Ах, Глеб Иванович, Глеб Иванович, будем справедливы, будем справедливы. Да, вот там, в подзеркальном ящике, можно сказать, эльдорады. Однако ведь и расходы огромные. Ну хоть бы на «нужных

людей», чтоб журнал-то под откос не пустили. Тошно глядеть, как Николай Алексеевич фальшиво-любезен с «нужными людьми»; тошно слышать, как подсударивает пошлостям «нужных людей». А картеж? Карты тоже, небось, прору берут. Будем справедливы, Глеб Иванович, будем справедливы... А Некрасов, росчерком пера сняв жернов, висевший на шее этого Глебушки, краснеющего быстро, как южная ольха на срезе, Некрасов говорит уже совсем о другом, и Успенский уже испытывал то состояние, которое заключал в два слова: душа работает.

Душа работала, принимая и перенимая нервную энергию другой души. Не поймешь, на чем она держалась в этой ветхой, изможденной оболочке. Сколько Успенский знал Некрасова, Николай Алексеевич выглядел много старше своих лет. Какая-то запредельная худоба, эта блеклая желтизна почти уже голого черепа, эти ввалившиеся щеки. Казалось, Николай Алексеевич непрестанно зябнет и надо бы поскорее подбросить дров в камин. Но камин и без того пылал, жарко пылал, словно бы в Михайловском, когда Пушкин читал стихи Пущину. Теплый воздух, струясь и голубея, наплывал на картину художника Ге, и картина зыбилась, зыбилась, заслоняясь тоже зыбящейся листвой Петровского парка на окраине Москвы, где сад с беседками и качелями примыкал к «Яру». Половой указал Успенскому комнату: «Пушкинский уголок, сударь». Нет, нет, он не смел жевать пожарскую в «пушкинском уголке», он подальше вы-

брал закоулок и прежде, чем распорядиться ужином, спросил... ведь, собственно, затем он и пришел в «Яр»... спросил, найдется ли в Соколовском хоре солистка, знающая что-нибудь на слова Некрасова?.. Цыганка была молодая, вся в алом, звенящая, а цыган-гитарист – в вишневом плисовом жилете. Спела она «Родную землю», спела «Не говори, что молодость сгубила», и это было не контральто, пусть и глубокое, не владение голосом, пусть и редчайшее, а нечто бесконечное, как наши пространства, нас же и поглотившие, и такая скорбь, такая бездонная скорбь... Боже ж ты мой, где же исход, где он? Не блеснет ли зарницей эпилог в «Кому на Руси»? Молчал Николай Алексеевич, улыбаясь кротко и коротко, этой улыбкой своей будто умоляя телесную боль отпустить на минуту – рак сводил его в могилу... И, переждав приступ боли, тылом ладони убирая пот со лба, спросил едва слышно: «Эпилог? А вы как думаете – кому выгодно?» Успенский назвал кого-то из семерых временнообязанных. «Ну, что вы, – покачал головой Некрасов и еще тише, раздельно и горестно молвил: – Пья-но-му... Изю всех семи деревень не зарастает тропа в кабак...» Прощался Глеб Иванович, уходил туда, на Литейный, в шум, в город, в непрерывное движение обыденности. Бурый медведь, опираясь на орясину, скалился в углу прихожей. Эх, Топтыгин, ты знал лучшие дни – видать, так и ломил в новгородских чащобах, и охотник из Чудовской луки, охотник со своим черным пойнтером Кадо тоже знал лучшие дни...

Вот этот домик, охотничий домик Некрасов купил за десять лет до того, как Успенский благоприобрел усадьбишку в Сябринцах. И вот уже пропасть лет не было Николая Алексеевича в этом охотничьем домике, а близ, под могильным камнем, лежал черный пойнтер Кадо, и надпись извещала, что Кадо, черный пойнтер, был незаменимым другом.

А незаменимый егерь Сергей Макарович Макаров, старик, красивый своей свежей старостью, великий следопыт, бог Пан здешних лесов, не сразу узнал сябринского хозяина. Однако, приглядевшись, решил, что это ж, конечно, Глеб Иванович, хотя и сильно переменившийся. Сергей Макарыч подошел и поздоровался с Глебом Ивановичем за руку, а с господином, который с тросточкой, обменялся поклонами.

Ему-то, Сергею Макаровичу, ничего не требовалось, он не из тех, кто колесом ходит, лишь бы «пондравиться» господам да сшибить пятиалтынный. Ничего не надо. Глеб Иванович, всей округе ведомо, и комара не убьет, а этот, с тросточкой, разве что окуней удит. Оно-то, пожалуй, и лучше, а то вот теперешних взять — какие, к лешему, ружейные охотники? Выкушают на травке и ну палить в пустые бутылки от рейнвейна... Нет, ничего не требовалось Сергею Макаровичу, разве что самого себя приласкать, стариனுшку вспоминая, когда Николай Алексеевич в Чудовскую наведывался. У меня, говорил, Карабиха есть, куда-а-а Чудовской, а не люблю... Уж и на ладан дышал, а приехал прощаться, насилу довели. Какой охотник был, одно слово, из потомственных.

Егерь принял папиросочку, сказал «благодарствуйте», но постарался придать своему иконописному лицу выражение, которое, по его мнению, должно было пояснить, что он, бывало, и заграничной сигаркой услаждался, вот так-то, господа. Приглашение посидеть-покурить совпадало с его, так сказать, мемуарным желанием. Он предвкушал то удовольствие, с каким старики прижмуриваются на осеннее солнышко.

И вот уж неизменный спутник Николая Алексеевича Некрасова завел речь об охотничьих обыкновениях и приключениях, каких уж нет и не будет. И не потому только, что чистопородные ружейные охотники перевелись, а еще и оттого...

– Раньше что? – задался он вопросом, возникавшим, очевидно, еще у пещерных костров, сам же и ответил: – Раньше раздолье, всего вдоволь, а теперь и дичь повыбили, и лес беспощадно сводят.

Размежевав прошлое и настоящее, старый егерь пустил неторопливой чередой обстоятельные сюжеты. Тут было:

– о том, как они с покойным, царствие ему небесное, хаживали и на бекаса, и на куропаточку, и на зайцов (не на «зайцев» сказал, а именно что на «зайцов»);

– о том, как Николай Алексеевич чуть ненароком егеря Пантелея не продырявил;

– о том, что Николай Алексеевич затаится в шалаше, в засаде, однако, опасаясь такой же нечаянности, подает сипова-

то: «Эй, ребята, смотри, я здесь!»;

– о том, что медведя, которого он, Макарыч, чучелом свез в Питер, на Литейный, медведя этого до олго окарауливали на горях, потому медведь не дурак, медведь любит на пожарах, где малинники – подойди-ка: сучья звонко трещат, далеко слышит, черт;

– о том, что Николай Алексеевич, охотник перворазрядный, егерям платил, не скупясь, и девок-загонщиц одаривал, чтоб громчее пели;

– о том, что с Николаем Алексеевичем приезжали разные превосходительства, из тузов тузьё, нашего губернатора возьми, он перед такими тьфу...

И наконец, о том, что однава Николай Алексеич прибыл веселым-превеселым. Эх, говорит, Макарыч, я намедни восемь тыщ выиграл!

Все это Успенский слушал, не перебивая. Слушал, наклоня голову, не столько «сюжеты», сколько звучание неторопливой, обстоятельной речи, но, когда егерь, упомянув «восемь тыщ», от полноты чувств шмякнул картузом о колено, Глеб Иванович рассмеялся.

Усольцев же прихмурился. Он счел долгом вразумить рассказчика в том смысле, что Николай Алексеевич Некрасов, великий писатель России, добывал хлеб трудом, литературным трудом.

Выслушав наставление, старик надел картуз, ответил серьезно:

– А мы, ваше благородие, им не мешали. Они там, – он через плечо показал на охотничий домик, – запрутся, день не выходят, три, а мы ничего, понимаем, ждем. – Словно бы вдруг что-то сообразив, Сергей Макарович прищурился. – А вы, ваше благородие, старье не покупаете?

– Какое «старье»? – не то удивился, не то обиделся Усольцев.

– А тут вот наемдни налетели молоденькие барышни, ну, совсем стрекозки, из самого, значит, Питера. Так они, ваше благородие, за какое-нибудь вышитое полотенце, бросовое, в дырках – изволь получи полтинник. А бабы-то и говорят: ну, раз за старину принялись, выходит, скоро конец света.

Успенский рассмеялся.

– Нет, мы с доктором совсем по другой статье.

Уже стемнело. Длинный вечер перетекал в короткую ночь. Неподвижные тучки раздумывали, брызнуть ли дождичком или подождать, пока Успенский с Усольцевым уберутся в Сябринцы. Из Чудовской луки послышалась песня.

– Федосья с Маруськой затеплили. Это у них любимое: «Неужели ты завянешь, аленький цветочек?» – Егерь усмехнулся. – Завя-янет.

А Глеб Иванович, вслух повторив «затеплили», тронул Усольцева за рукав: «Как хорошо. Мы бы с вами как? Ну, запели, завели... А то – затеплили. Будто свечки».

– Федосья с Маруськой много песен знают, – отметил старик, – у нас про таких говорят: душа долгая. Да только пес-



ни-то с голодудохнут, скоро и вовсе деревня обезголосит: прет народишко в Питер, на полировку.

Распрощались, как и поздоровались: Глеб Иванович с Сергеем Макаровичем за руку; егерь и доктор – поклонами.

В Сябринцах, в рабочей своей комнате, Глеб Иванович, разбирая старые бумаги, нашел пачку читательских писем, все больше от провинциальных учителей, фельдшериц, статистиков, нашел и тетрадки, исписанные мужиками-грамотеями, а под конец и сочинение какого-то деревенского мальчонки на тему «Наши домашние животные». Тетрадки, письма грустные были, печальные, в надрывах от повсеместной неразберихи, недоли, путаницы. Зато сочинение школяра глянуло глазенками некрасовских деревенских детей, и Успенский опять почувствовал радость и счастье жить. Чувство это возникло еще на первых пешеходных верстах, но сейчас, ночью, когда керосиновая лампа освещала «домашних животных», а тени от ветвей елозили по бумаге, сейчас к радости и счастью жить прибавилась любовь ко всему существующему на свете.

Минуя деревни, шли они берегом широкой реки, направляясь к обширным, верст на пятнадцать, заливным лугам. Оттуда, с лугов этих, где уже завершалась косовица, накатывал дух свежего сена. А по реке тянулись большие порожние барки, готовые поднять не меньше десяти тысяч пудов. Что-

бы соорудить эдакую «судовину» — не то чтобы говорил, а как бы повествовал Глеб Иванович — соорудить, а потом и водить через пороги, в ненастья, при ветрах, меняющих направление, тут, дорогой мой, нужны не одни только труд да смётка, нет, сударь, истинное вдохновение требуется.

Рассуждая о сенных барках и «лесных гонках», высказывая множество соображений на сей счет, Глеб Иванович повествовал не без горделивости, будто самолично и «судовины» взбадривал, и плоты сплавлиал аж до питерских затонов.

Правду сказать, все это не представляло для нашего медика жгучего интереса. Он слушал вполуха, однако улыбался — никогда в Колмове Глеб Иванович не бывал так светел. Думал же Усольцев о другом. Точнее выразиться, не думал, а недоумевал, отчего же Глеб Иванович так обидно равнодушен к поэзии Колмова.

Недоумение это проистекало из рассуждений Успенского, высказанных до того, как его внимание привлекли сенные барки, и возникших не внезапно, как понимал Усольцев, а в непосредственном соотношении с тем душевным состоянием, которое все сильнее и полнее овладевало Глебом Ивановичем после ночлега в Сябринцах. Внезапности не было, была неожиданность. Но не в том, что о Пушкине отзывался Глеб Иванович без упоения, это еще в Колмове можно было подметить. И не в том, что говорил о Лермонтове, этого в Колмове не замечалось, да и вообще-то никакого разговора не было. А в том, *что* именно говорил Глеб Иванович.

Пушкин, говорил он, многие струны тронул, очень многие, а ведь даже Пушкину не приходило в голову... У него – «влачащийся по браздам неумолимого владельца». Понимаете? «Влачащийся» раб, в грязи он, в опорках, и Пушкин, несомненно, страдает, но вот даже и Пушкину невдомек, что мужик-то со своей клячонкой, с сохой, мужик этот способен всей душой восчувствовать... нет, не каторгу, а радость, красоту своего труда на земле. И красоту мира божьего, всего, что вокруг, а вокруг-то, может, суглинок, кочки, ельничек, такое все сирое, и небо-то не блещет, и речонка с осокой... Так, да... А теперь, Николай Николаевич, нуте-с, нашепчите-ка про себя «Когда волнуется желтеющая нива». Хорошо-с! А теперь вдумайтесь, сударь, смысл какой? А такой, стало быть, что наш поэт Бога увидел и начал постигать, что такое счастье... Думаю, *такое* на каждого находит, случается. Вот и со мной тоже, в Лувре бывало или вот давеча в Сябринцах, когда глазенки детские. А изъяснишь ли? Да что с меня-то взять. А тут – Лермонтов! Так вот, скажите на милость, что такое «Когда волнуется желтеющая нива»? Ну-с, слива, и притом малиновая. Значит, поспевает слива, поспевает, а рядом ландыш красуется. Не какой-нибудь за-трапезный, шершавый крыжовник или забубённая бузина, а нежненький ландыш. И все в одну пору – тут тебе слива, тут тебе и ландыш. И росой-то омыты, но какой? – «душистой»; а тень какая? – «сладостная». А освещение какое? – этого не понять, то ль вечерняя заря, то ли утренняя. Те-те-те, сейчас

и скажете: «По эзия!» Хорошо, но при чем здесь постижение счастья? Бог-то при чем? Оранжерея какая-то, одеколон, а поэт ничего не постигает душой, он вроде бы высокопоставленную особу зазывает: извольте взглянуть, вот слива-с, а вот сюда, сюда пожалте, вот ландыш... Может и красиво, а за душу не берет. А назову я вам одного лишь, этот и в мужицкую радость проник, и «лоно природы» знает не как случайный прохожий. Знаете кто»? У него все в движении, плечо «раззудись», «рука размахнись», он чувствует, как весело запрягать или борону ладить. Кольцов, прасол Кольцов...

Усольцева неприятно задела не столько суждения о Пушкине, сколько о Лермонтове. Что ж до Кольцова... Читал давно и неохотно, казался умиленно-искусственным. Но все это так ли, нет, а главное в том, что Глеб Иванович, рассуждая о поэзии прозаически, не желает, решительно не желает видеть прозаическую поэзию Колмова, где колонисты-то как раз и счастливы – «размахнись рука», «раззудись плечо». Нет, не хочет видеть.

Сейчас, когда они шли берегом широкой реки, когда дух больших покосов накатывал все гуще, солнце садилось чисто, а роса... гм, роса была душистая, сейчас Николай Николаевич вспомнил артезианский колодец, землекопов, колонистов и, вспомнив, пригласил Глеба Ивановича признать, наконец, что колмовская солидарность и есть поэзия. Увы, в глазах Успенского доктор опять заметил лишь опасливое сочувствие.

Вечером они добрались до заливных лугов. Горели костры, пахло большим табором. Глеб Иванович слыхивал, что местных, коренных косарей теснит пришлый люмпен, но даже и не предполагал такую массу наплывной голытьбы. Кольцовский косарь ходил *гулять* в донские степи, а эти набивали кровавые волдыри; настоящие *косаки* составляли меньшинство. Они сплывались в свои артели, подрядчики платили им щедрее, в харче отказа не было – не то что хлеба вдоволь, а и каши с лучком и салом, по воскресеньям щи мясные.

Огни и запахи съестного, стук ложек, говор, вся эта обширная панорама лугов и вершенных копен будила в Глебе Ивановиче стародавнее желание серьезных бесед с каждым встречным-поперечным. Он уже приглядел неартельную голь, но доктор Усольцев заметил другое – один из косаков блестел очками.

Подошли, поздоровались. Этот, в очках и шляпенке с провалившейся тульей всмотрелся в Успенского. «Как же, читал, читал и восхищался. Фотографию видел, узнал вас, Глеб Иванович, как же...»

Оказалось, бывший профессор Новороссийского университета. (Жаль, Н.Н.Усольцев не указал фамилии, можно было бы навести справки.) «Да, кафедру бросил». Что так? «Ну, знаете ли, как самоубийцы пишут: «От невеселой моей жизни». А все же, если не секрет? «Вам ли не понять, Глеб Иванович? Не жил, а разве что дышал в кошмарном сне. Ле-

жишь, а машина какая-то, локомотив, вот-вот тебя, как гуся. Страшно, дико, крикнуть бы, чтобы проснуться, а крик в горле комом, и давит тебя, давит, давит». А как здесь теперь себя чувствуете? «Воля! В прежние условия жизни ни под каким караулом не двинусь».

Сдается, он и вправду был счастлив, бывший профессор, человек лет сорока – сорока пяти, миловидный, голубоглазый, бородатый, утолявший после здоровой работы здоровый голод. Счастлив волей, независимостью, тем, что на равных с косаками, звон косы ему отраден.

Ни Успенский, ни Усольцев не были поборниками «опрощения». Но не Глеб Иванович, а Николай Николаевич, взволновавшись, стал укорять экс-профессора за столь примитивное избавление от драмы совести, за уклонение от роли интеллигенции в святом деле облагораживания народной души, в которой еще так много лесного, звериного, за то, что экс-профессор променял сердце всескорбящее на сердце эгоистическое, это вот и есть измена заветам шестидесятников, всем мученикам долга.

Покончив с кашей, экс-профессор отер ложку, провел ладонью по бороде, легонько тронутой сединой, и, широко улыбнувшись, потягиваясь, отвечал в том смысле, что у него нет ни малейшего позыва сочинять проекты «об оздоровлении корней» или о том, чтобы кабаки ставили не ближе чем в двадцати верстах от населенных пунктов. Все эти проекты вырабатывают высоколобые, не спросив мужика, в поль-

зу и благо которого вырабатывают. А засим разные комитеты утверждают: быть по сему и никаких разговоров! В отношении же народной нравственности он полагал так: вынесли и мамаев, и биронов, и салтычих, и шпицрутены, а вот бескровной пытки мертвым кружочком не вынесем, рубль-то хорошо роеет, приканчивая помаленьку устои, уклады, обычаи... И вдруг обозлился: вместо того чтобы навязывать мне «дра-аму со-овести», наострили бы лыжи в деревню, благо рядом, да и оказали бы какую-нибудь помощь.

– Я-то наострю, – огрызнулся доктор, – а вот вы, милостивый государь, с этим «мертвым кружочком» уже мертвы. – И Усольцев обернулся за подмогой к Успенскому.

Глеб Иванович лежал навзничь и, заложив руки под голову, смотрел на тихо меркнувшее небо. Доктор с еще большим раздражением, обидой и досадой сказал Глебу Ивановичу, что этак и простуду схватить недолго и что надо искать ночлег, а не валяться на голой земле.

Наш доктор хотя и грозился: «Я-то наострю!» – однако, прикинув расстояние до деревни и чувствуя на душе пренеприятную оскомину, счел за благо ночевать в сенном сарае.

Сарай и прессовую машину содержал сенник, местный крестьянин. «В сарае так в сарае», – бурчал доктор, пробираясь сквозь колкую темноту вслед за Глебом Ивановичем.

Табор на лугах смолк. Слышался шорох полевых, осторожных и вместе с тем, казалось, нахальных. Глебу Ивановичу было немножко неловко своего давешнего молчания.

Николай Николаевич говорил в общем то, что и он мог бы сказать экс-профессору. Но и тот с этими «мертвыми кружочками» был прав, не хотелось ввязываться в «культурный разговор», а хотелось лежать и глядеть на небо, продлевая сябринское душевное расположение и словно бы перечитывая домашнее сочинение деревенского мальчугана. Вот прелесть-то, а? «Черт есть животное домашнее, четвероногое, но не всегда, а когда спит. Когда же ходит, то на двух ногах. Водится на печке, питается золой и углями. Бабушка его не боится. Сама читает молитву, и я должен читать: «Да воскреснет бог и расточатся врази его». Он и расточается, расточается в нашу кошку Машку. На вопрос, какая польза, прямо отвечаю – никакой, потому что черт хотя и домашнее животное, пахать неспособен». Глеб Иванович тихонько хохотнул в кулак. Доктор, все еще сердитый на Успенского, протестующе заворочался. «А я тогда, – вслух продолжал Глеб Иванович, приняв этот протест за знак внимания, – я тогда, что называется, сидел в должности. Письмоводителем служил в ссудо-сберегательной кассе, это в Самарской губернии было. Прислали к нам молоденького учителя. Географию начал так: «Дети, будьте внимательны. С той самой поры, как Адама и Еву прогнали из рая, люди делались все глупее и глупее и думали, что солнце вокруг земли вращается». Учил он и русскому. А тогда, знаете ли, предписание вышло, чтобы в домашних сочинениях ученики не смели касаться бытовых условий. Так вот и указали: бытовых условий. Ну, допустим,



какую-нибудь Сахару. Извольте радоваться, ученик пишет: «Заря там дюже красная догорела, значит, будет в этой Сахаре дождь». А я возьми да и предложи сеятелю разумного – раз, говорю, нельзя «из жизни населения», валяйте про скотину. Неделя, другая, бежит мой Песталоцци, трясет бумагами, кричит: «Один про черта наката, другой и того хуже». Что такое? «Вот, полюбуйтесь!» Читаю: «Тятяка податей не заплатил, старшина увел домашнее животное к становому». А может, говорю, и увел? А Песталоцци возопил: «Каков мерзавец! Прямо в социализм ударился!» Доктор смеялся, слезинки смахивал. Поди-ка, сердись на Глеба Ивановича...

На заливных лугах хотелось быть еще и еще. У Глеба Ивановича и тут сладились знакомства. Успенского не называли ни «господином», ни «барином», называли по имени-отчеству.

А доктор Усольцев день ото дня все сумрачнее хохлился. Странно, но его тяготило, раздражало, ему мешало как раз то, что в Колмове было привычным, повседневным, неутомительным.

Где бы они с Глебом Ивановичем не останавливались, с кем бы ни встречались, Усольцев, словно бы и помимо воли, приступал к психиатрическим наблюдениям, сопоставлениям, анализам, диагностике. В его действиях – это-то и главное! – была *подозрительность*. Встречных-поперечных подозревал он в тех или иных психических отклонениях и весьма быстро подбирал тому подтверждения. Особенно по-

разила Усольцева, так сказать, общая, групповая, артельная ненормальность вот здесь, на заливных лугах, на косовице, которой занята была масса людей, пришлых и местных, молодых и немолодых, словом, людей разных. И все они, заметил Усольцев, не умели проводить время воскресного отдыха, не знали, куда себя деть. И чем ближе был вечер, тем сильнее уставали от своего отдыха. Делались угрюмыми, вспыльчивыми, доходило до драк – и все это было нетерпением, когда ж кончится праздник и придет понедельник, день тяжелый, то есть труд, который называли «проклятушим». Они раньше обыкновенного укладывались спать, тут крылось не только здоровое желание хорошенько выспаться, но и нездоровое, как полагал Усольцев, нежелание длить этот отдых, этот воскресный вечер.

Все сие доктор хотел было объяснить отсутствием умственных интересов, но себе-то он не мог отказать в их наличии, а вот, поди ж ты, такая маета, такое неумение управиться с самим собою, и все оттого, что он свободен от Колмова, то бишь от повседневного труда, который он, Усольцев, хотя и не называл «проклятушим», но который не менее утомителен, чем труд мускульный.

С каким-то нехорошим, даже, пожалуй, мстительным чувством он сказал Успенскому об артельном, общем, коллективном состоянии духа в день воскресный. В ту минуту Успенский смотрел из-под руки, как солнце, закатываясь, делает из речной воды, от берега до берега, широкую золо-

тую, там светлую, тут темную, а вон там багровую ленту. Он ничего не ответил Усольцеву. И Николай Николаевич вдруг поймал себя на том, что ему, Глеб-гвардейцу, если быть честным, надоел Глеб Успенский; надоел, измотал, всего измочалил. Мысль эта, явившись впервые, не огорчила Усольцева, он был холоден. Он чувствовал властную тягу туда – *домой*,

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.